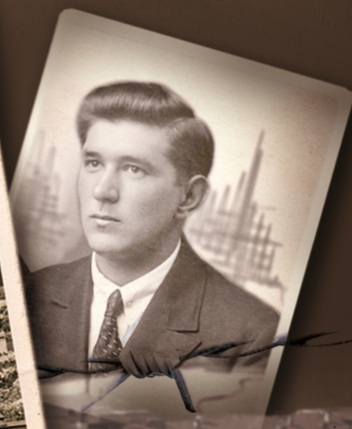


Михаил Голубков

МИУССКАЯ ПЛОЩАДЬ



*Трём поколениям москвичей
посвящается*

Библиотека русского ПЕН-центра

Михаил Голубков

Миусская площадь

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Голубков М. М.

Миусская площадь / М. М. Голубков — «ЛитРес: Самиздат»,
2019 — (Библиотека русского ПЕН-центра)

ISBN 978-5-5321-0589-8

В центре романа судьба семьи Грачевых, братьев Бориса и Константина и их сестры Антонины. Действие происходит в Москве в период с 1933 по 1952 год. Три части романа посвящены важным событиям этой эпохи: приходу Гитлера к власти, репрессиям 1937 года, «делу врачей». Судьба семьи как зеркало отражает судьбу страны. В романе умело смешаны психологический, бытовой и мистические пласты. Автор обложки — Алла Белоусова.

ISBN 978-5-5321-0589-8

© Голубков М. М., 2019
© ЛитРес: Самиздат, 2019

Содержание

От автора	5
Москва – Берлин (1933)	6
Утро красит нежным светом... (1937)	52
Миусская площадь	52
Конец ознакомительного фрагмента.	55

От автора

Все изложенное здесь вымышлено – нельзя претендовать на достоверность, когда речь идет о событиях, отстоящих от сего дня более чем на пять-семь десятилетий. Но вымышлено лишь отчасти: о них автор узнал от старика, рядом с которым сиживал ребенком на той самой скамейке в московском сквере. И не только от него. Детская память схватывает многое и потом, уже во взрослом возрасте, накладывается на потребность поклониться светлomu образу ушедших людей и тому времени, когда они были нужны не только близким.

В сущности, это поклон людям тридцатых годов. И людям пятидесятых.

Одну историческую неточность автор позволил себе сознательно: предсказание Мессинга, свидетелями которого становятся герои, произошло в Варшаве в 1937 году, а не в Берлине в 1933. Впрочем, старик был очевидцем и этого события. Возможно, оно и привело его к попытке постичь некие мистические механизмы, предопределяющие ход общей истории и частной жизни человека, не поддающиеся рациональному истолкованию. Тогда обнаруживается их мистический смысл. XX век корректирует наши представления о возможном и вероятном. Так что мистическая интерпретация некоторых событий тех лет, предложенная здесь, не входит в столь уж явное противоречие с суждениями о реальности, порожденными научно-философским, историческим и каждодневным опытом человека, погруженного в действительность ушедшего столетия.

Москва – Берлин (1933)

На скамейке в московском сквере сидел старик. Откинувшись на спинку и глубоко засунув зябнувшие руки в карманы светлого кашемирового пальто, длинного и старомодного, купленного в Париже еще до войны, он собирал силы, чтобы взять палку, опереться на нее, встать и сделать первые несколько шагов, самых трудных: потом, как бы по инерции, ступить станет легче.

Он был ровесником своего века, XX века, и его жизнь вросла в жизнь столетия, слилась с ним нераздельно, и даже одряхлели они одновременно, только вот дряхлость века в 70-е годы была еще не так очевидна, как дряхлость старика. Ему шел семьдесят третий год, и он знал, что это последний год его жизни. Знал давно, уже лет сорок носил это знание в себе. Когда-то думалось, что семьдесят три – это безумно далеко, целая вечность, и никогда эта цифра не приблизится – и вот приблизилась. И действительно, ощущение конца, еще невнятное год назад, сейчас становилось все реальнее. Как будто сама смерть ходит за ним по пятам, ища знакомства, но не решаясь пока представиться, деликатно пропуская вперед в распахнутые двери вагона метро или даже чуть придерживая под локоть, помогая взобраться в троллейбус. Казалось, она хочет заглянуть в лицо, но стесняется слишком уж откровенно выказать свое внимание, как попутный прохожий, обогнав, незаметно оборачивается с наклоном головы, если человек со спины напомнил кого-то знакомого. Но приметы, по которым можно было угадать ее настойчивое внимание, были отнюдь не деликатны, скорее, грубы и не оставляли сомнений: то кожаный футбольный мяч, туго накачанный велосипедным насосом, летел по невероятной траектории из хоккейно-футбольной дворовой коробки, пущенный вратарем, прямо в грудь старику. Или же еще ранней весной, в марте (тогда, пожалуй, и случилось первое проявление настойчивой заинтересованности в знакомстве), лихач-таксист, выворачивая из двора, образованного черемушкинскими пятиэтажками, на заносе задел крылом своей салатовой «Волги», сбив в жесткий, уже талый и потом обледеневший сугроб, оставив лежать старика с разбитым лицом, в том самом длинном старомодном пальто, в котором он сидел сейчас в сквере. Самое странное было то, что люди, которых смерть избирала своими вестниками, вроде бы и не замечали этого: мальчишки подхватили мяч и кинулись в игру, не обратив внимания на старого высокого человека, неуклюже сидящего на тротуаре и тянущегося рукой к далеко отлетевшей палке. Таксист уехал, даже не притормозив, как будто не заметил сбитого человека.

Страх не было, скорее, любопытство: время от времени хотелось резко оглянуться, чтобы увидеть лицо своей смерти. Какое оно? Не может же быть, чтобы в капюшоне, с веселым оскалом и пустыми глазницами? Да еще и с высоко поднятой косой? Какое-то другое, непредставимое, но сколько раз ни оборачивался – за спиной никого не было. Да и что, собственно, спешить? Успеется. Всем живущим успеется увидеть, а ему – очень скоро. Вот только никто из увидевших еще не смог рассказать тем, кто остается, какое оно, это лицо. Можно лишь гадать.

Старик часто спрашивал себя, хорошо ли обладать этим странным знанием – почти точной датой завершения своего земного пути. И уверенно отвечал: хорошо! Хорошо было в тридцать пять, в сорок, в пятьдесят, даже в шестьдесят: можно было легко и уверенно планировать, хоть на десятки лет вперед. Кто мог позволить себе такую роскошь в тридцатые или сороковые? Он же, кладя себе под подушку в захудалой берлинской или парижской гостинице маленький черный «Браунинг», был уверен в том, что либо тот ему не понадобится, либо он сумеет воспользоваться им первым. Именно это давало силы в августе сорок первого, стоя на берлинском перроне, небрежно опустив руку в левый карман брюк, лаская рукоятку того же самого «Браунинга» и слегка покачиваясь с пятки на носок, с высоты своего роста лениво разговаривать с немецким офицером и с легким налетом праздного любопытства разглядывать черную форму,

две блестящие молнии в петличках, череп с перекрещенными костями на кокарде высокой фуражки.

Теперь же казалось, что лучше бы этого не знать. Зачем? Ведь легче же его немногим оставшимся сверстникам не знать, когда они умрут – в этом году, через год, через пять? Хотя, в сущности, на что ему были бы нужны эти пять лет? На жену, которая озабочена только своими хворобами? На двух дочерей, давно переставших его замечать и относившихся к нему как к досадной помехе? Дома – лишь дежурные слова, простейшие и однозначные, как сигналы светофора.

Конечно, со стороны это путешествие безо всякой видимой цели через всю Москву могло показаться странным и вполне бессмысленным – это при его-то тяжести и грузности, при том, что так трудно передвигаться, да еще при забитом даже днем метро, при редких троллейбусах на окраине, которые чуть ли не с боем надо брать. А с другой стороны, на что силы? На что их беречь? Остаток сил можно и на прихоть свою потратить.

Старик надеялся, что пересечение огромного для него пространства – из Черемушек на Новослободскую – обернется пересечением столь же огромных временных пластов – из семьдесят третьего в середину тридцатых, точнее, в тридцать третий. Он ехал через всю Москву с мучительной пересадкой на кольцевую линию для того, чтобы разорвать толщу четырех десятилетий и приблизиться к моменту обретения того рокового знания, которое помогало раньше, но угнетало сейчас. Он не был здесь, на своей родной Миусской площади, как раз лет сорок. Абсурд московской жизни: сколько за это время объездил стран, в том же Берлине довоенном знал чуть ли не все переулки, а куда рукой подать – не заглядывал. И ведь каждый день ездил на Смоленскую площадь в свое министерство, а сделать два шага в сторону в голову не приходило. Нужды не было. Нужда пришла, внутренняя, томительная, смутная, только сейчас. В последний год жизни.

Старик достал из кармана портсигар – странная сейчас привычка перекладывать папиросы из картонной пачки и носить их в портсигаре сохранилась с молодости. Вынул папиросу, постучал мундштуком о костяшки пальцев левой старческой руки, закурил. Движения, отточенные годами, давались легко, делались автоматически. Папироса «Беломорканал» оказалась недостаточно крепкой и сильно отдавала какими-то посторонними запахами. Из продажи исчезли хорошие папиросы, – «Казбека» уже было днем с огнем не сыскать, а что уж говорить о знаменитой «Герцеговине флор», ее уже лет двадцать мало кто видел. «Прибой», «Волна», «Север», которые валялись в табачных киосках, были и того хуже. Вот этот портсигар – серебряный, немного почерневший от времени, дорогая вещица. Нет, дело, конечно же, не только в привычке не думать о картонной пачке, как она истреплется в кармане, порвется, папиросы разломаются, табак противной липкой крошкой набьет весь карман. Конечно, металлический портсигар удобнее, но этот, с сельскохозяйственной символикой тридцатых годов на крышке и с фашистской свастикой наподобие восходящего солнца, в лучах которой рвутся вперед неуправляемые мускулистые немецкие скакуны... Нет, дело не в удобстве, а в той странной роли, которую сыграл в его жизни этот портсигар.

Надо все-таки подняться и выйти к Третьей Миусской. Там, за Домом композиторов во дворе его дом, дом его семьи, подлинной, настоящей, с отцом и матерью, с братьями и сестрой, дом, из которого всех их давно пораскидало временем, безжалостными советскими десятилетиями. Да в том ли дело, что советскими? Время всегда, наверное, безжалостно.

Он вышел из сквера, чтобы перейти тихую улицу, заставленную даже днем отдыхающими троллейбусами, которым не досталось места в троллейбусном парке, бывшем в те незапамятные времена еще трамвайным депо, и оказался как раз напротив мрачной серой громады Университета Шанявского. Так, именем своего основателя и организатора, университет называли и в двадцатые, и в тридцатые, когда он стал уже Комуниверситетом, а потом уж и ВПШ. Сейчас двери старого здания были накрепко закрыты, навешан замок, да и сам университет превра-

тился в какую-то странную дворовую пристройку к громадине здания ВПШ, построенной уже после войны. В сорок девятом? Или в начале пятидесятых? Точнее старик не помнил, тогда он не бывал уже в этих местах Москвы, своей, как чувствовалось ему сейчас, Москвы.

Он шагнул с тротуара на дорогу, посмотрел налево – припаркованный троллейбус с опущенными рогами закрывал проезжую часть, сделал еще шаг, взглянув направо...

– Константин Алексеевич! – звонкий девичий голос прозвучал за спиной. – Костя!

Этот окрик, совершенно невероятный, невозможный (кто его мог здесь знать? откуда?!), удержал старика от следующего шага, когда из-за спящего троллейбуса на огромной скорости выскочила черная «Волга», резко вильнула в сторону, буквально отпрыгнув от неизвестно откуда появившегося пешехода в длинном пальто; старик в это мгновение увидел перекошенное злобой лицо пассажира, сидящего спереди, и холодные глаза, устремленные на него с заднего сидения. Машина тотчас же рванула вперед, и тут же рядом с ним резко затормозила другая, точно такая же. Двери открылись, двое одетых в одинаковые ладные серые костюмы решительно ступили на асфальт, но увидев перед собой совершенно беспомощного растерянного человека, остановились.

– Жить надоело, старый хрен? В крематорий торопишься? – и умчались дальше, охранять первую.

Ни чувства обиды, ни ощущения собственного бесправия не испытал старик. Он бы и не заметил этих двух машин, не принял бы их во внимание, если бы не холодная пустота где-то внутри, под сердцем, которая возникала при получении очередной весточки. Но и это было ничто в сравнении с тем голосом, несомненно знакомым, который спас его и на этот раз. Он оглянулся: в сквере, далеко, играли в песочнице дети; две пожилые женщины разговаривали, стоя рядом с ними; еще дальше девушки в ярких нейлоновых курточках сидели на скамейке, уткнувшись в общий конспект, к ним от Менделеевского института приближался парень в куцем пиджачке и с опущенными по последней моде волосами, спадавшими прямо на плечи; закурил, предложил девчонкам, те отказались, с еще большей серьезностью уставившись в конспект. Вокруг не было никого, кто мог бы его позвать. Что же? Значит, голос, окликнувший его почти полвека назад, каким-то странным эхом вернулся к нему сейчас, чтобы и на сей раз спасти?..

* * *

Константин Алексеевич приехал к брату на трамвае. Его остановка была на Новослободской улице, прямо у Весковского переулка, за два прогона до конечной, когда электровагон, доезжая до трамвайного парка, разворачивался на круге прямо перед красным зданием депо. Легко шагая по Весковскому переулку по направлению к Миусам, он испытывал то состояние, которое определяется как радость жизни. Он вообще умел и любил радоваться сущему и сейчас наслаждался холодным сентябрьским воздухом, пейзажем московского переулка, легкостью собственной походки, удобством и красотой серого костюма, подогнанного по фигуре, мягкостью новых черных ботинок, даже синим галстуком в белый горошек, купленным в спецраспределителе на третьей линии ГУМа. Но главную радость, конечно же, обещала встреча с братом, с маленькой сестрой, с матерью. Совсем недавно брату выделили две комнаты в новом доме, и сегодняшняя визит был не только прощанием перед долгой командировкой, но и вроде как новосельем.

Этот дом, шестиэтажный, в четыре подъезда, простой, без балконов и архитектурных излишеств, даже без конструктивистских подчеркиваний геометрических форм, был построен совсем недавно. В нем уже проявлялся советский аскетизм ранних тридцатых: курс на индустриализацию, каждый гвоздь на счету, ничего лишнего. Даже кирпич был смешанный, красный глиняный и серый силикатный, положенный как придется, как подвозили молодые горла-

стые шоферы на новых советских полуторках, а то и ломовики на телегах на резиновом ходу, запряженных огромными неповоротливыми битюгами. Пока шло строительство, можно было легко разобрать, в какой последовательности кирпич подвозился: красные и серые участки на стенах чередовались. Потом дом был оштукатурен и покрашен серой краской. Проект, заказанный Наркомтяжпромом, утверждал сам Серго Орджоникидзе, только что назначенный наркомом – отсюда и аскетизм, и подчеркнутая рациональность. Дом строился для молодых перспективных сотрудников наркомата, которым были нужны удобства, но не роскошь.

Именно в этом доме в большой коммунальной квартире на шестом этаже в крайнем подъезде были выделены две смежные комнаты заместителю Серго Орджоникидзе Борису Алексеичу Грачеву. Там и поселился он с женой, матерью и своей младшей сестрой.

Может быть, Константин Алексеевич, направляясь к брату, и сам скрывал от себя причину своего хорошего настроения. В институте Шаняевского – в Комуниверситете – училась сотрудница Наркомата иностранных дел, просто видеть которую доставляло Константину Алексеевичу несказанную радость. Он был в середине своих тридцатых годов, в том счастливом возрасте, когда молодость уже сочетается с опытом и некоторой мудростью. Общаясь с красивой женщиной и вовсе не строя планы соблазнения и последующего любовного похождения, он всегда, сам того не осознавая, оставлял такую возможность, что придавало общению какую-то перспективу, намек на будущее, когда слово «до свидания» приобретало свой изначальный смысл и вовсе не оказывалось синонимом слова «прощай».

Аня училась уже год, еще год оставался, и если раньше они пересекались в Наркомате каждый день, то теперь совсем не виделись, перезванивались только, если возникал повод. И подходя сейчас к институту Шаняевского со стороны Миусской площади, Константин Алексеевич надеялся на встречу, но почему-то замедлял шаг: как он ее найдет в огромном здании? И там ли она сегодня? И не кончились ли занятия? И удобно ли это будет? Он заметил, что правая рука опущена в карман брюк, где лежали папиросы: привычка достать в кармане папиросу из картонной пачки, не вынимая ее, проявлялась у него в моменты растерянности или задумчивости. Константин Алексеевич машинально остановился у края тротуара, собираясь ступить на дорогу, но не смог: нужно было пропустить две черные машины, набирающие ход. Первым, прямо посередине дороги, шел как бы раздутый изнутри лоснящийся «Паккард», за ним, прижавшись к тротуару, ехала простая «Эмка». Проклятая папироса все никак не доставалась из пачки, и он с раздражением потряс руку в кармане, пытаясь пальцами еще больше надорвать мягкий картон. «Паккард» поравнялся с пешеходом, показались задернутые темными занавесками задние окна и испуганное лицо шофера, вцепившегося в руль и смотрящего не на дорогу, а на странного человека, стоящего на самом краю тротуара и судорожно пытающегося что-то вынуть из кармана. Машина как будто присела на задние колеса, резко рванула, завизжав прокручивающимися шинами по асфальту, и «Эмка» тоже ринулась вперед, еще ближе к тротуару, как бы собираясь обогнать слева свою шикарную спутницу.

– Константин Алексеевич! Костя! – услышал он за спиной отчаянный звонкий окрик. Папироса наконец оказалась в руке, но он не успел постучать привычным жестом о костяшку левой руки, тем более смять мундштук и взять в рот, чтобы прикурить, – Аня схватила его за рукав и резко потянула к себе, в сторону от дороги. Константин Алексеевич потерял равновесие, папироса упала прямо под колеса подскочившей «Эмки», и в ту же минуту, падая, он увидел два черных пистолетных дула, направленных на него через открытые окна машины.

Много раз потом вспоминая этот миг, он размышлял, что спасло его: то ли, что он успел достать папиросу и чекисты увидели, что в руках у него не пистолет и не граната? Или та нелепая и совершенно незащитная поза, в которой он, влекомый неожиданным рывком, пытаясь сохранить равновесие, падал в расставленные руки Ани? И понимал, в конце концов, что спасен оказался ее звонким голосом, ее словами, догнавшими его, когда он в задумчивости на

краю тротуара, стараясь побороть свою неловкость и удивляясь ей, чуть было не сделал шаг на мостовую.

Кто ехал в той первой машине, в «Паккарде»? Да кто угодно мог ехать. Тот же Орджоникидзе мог, мог Ягода, мог Ежов. Кто из них был раньше во главе НКВД? Кто к тому моменту уже был расстрелян? Неважно! Мог ехать любой, кому полагалась машина сопровождения с охраной, и чекисты, которые собирались его убить, просто честно делали свое дело, не более того.

– Костя! Что же вы под машину лезете! Что за странная растерянность и меланхолия в советском дипломате?! И что вы тут делаете? Вы в Комуниверситет? Будете читать лекции? Вас направили? На каком отделении? На нашем? Вот замечательно! Вы, наверное, лекцию обдумываете? И слегка волнуетесь, верно? Я сразу догадалась! – говорила Аня, не давая ответить и не дожидаясь ответа. Константин Алексеевич смотрел на нее, в большущие карие глаза, в красивое взрослое лицо, обрамленное каре прямых тяжелых черных волос, и думал о том, что эта женщина спасла ему жизнь, и даже не поняла, что спасла и от чего спасла; что она по-детски и без намека на женское кокетство рада ему, искренне и по-дружески; и сейчас, когда сердце еще колотится, а под ним какая-то странная ледяная пустота, а страха нет, потому что он просто не успел испугаться, ему очень хочется сильно ее обнять и поцеловать в губы, но сделать этого нельзя, потому что тогда точно испортится та легкая материя их отношений, о которой она может и не подозревать.

– Константин Алексеевич! Пойдемте! Я на лекцию опоздаю! А вы сейчас читаете? – говорила Анна, когда они переходили через совершенно пустую дорогу к дверям университета.

– Нет, я не читаю лекций и не собираюсь их читать. Я шел к брату и решил завернуть к университету, просто на удачу, чтобы увидеть вас. Просто увидеть вас. И больше ничего.

– Чтобы увидеть меня? И больше ничего? – в голосе Ани послышалось удивление, вопрос и как бы преддверие испуга, когда дружеские отношения грозят вдруг перейти в иные, а это томительно, и страшно, и лучше не надо...

– И больше ничего! – уже шутливо произнес Константин Алексеевич. – Никаких лекций! Никогда и ни за что! Пусть студенты остаются серыми и необразованными!

– Вот те раз! Вы не любите студентов? Не хотите растить смену? А как же новые кадры советской дипломатии?

– Мне хотелось взглянуть только на вас! Правда! Мне немного жаль, что вас сейчас нет в наркомате. Вот и решил заглянуть.

– А знаете что? – глаза у Ани радостно заблестели. – В субботу у нас занятий нет. Приходите ко мне домой на обед! Ведь у меня же новоселье! Я теперь не в общежитии, а комнату получила. Тут недалеко, на Палихе! Представляете, новый дом, с паровым отоплением, с газовой колонкой, с газовой плитой и с газовой духовкой!

– Одна плита и духовка на целый дом? Очередь занимаете для готовки?

– Шутите все! Шутите, шутите! Вот когда придете, я вас угощу курицей, запеченной в духовом шкафу! С нежной золотистой корочкой! С гарниром из запеченной картошки! Я так здорово готовить научилась! Вот увидите, как надо мной смеяться! Приходите в субботу в три! Улица Палиха, дом шесть, строение три, вход со двора, третий этаж, квартира пятнадцать. Три звонка!

Константин Алексеевич заметил только сейчас, сраженный восторженным напором своей сослуживицы, что она держит его за рукав пиджака, смотрит в самые глаза, стремясь откинуть неизбежную преграду, стоящую между мужчиной и женщиной, и весело пританцовывает в такт своим словам. И вновь – в этом танце не было ничего жеманного, кокетливого, заманивающего, томящегося и неискренного, неизбежного в любом кокетстве. Это была почти детская, при внешней привлекательности и женской красоте, открытая радость, вся на виду,

ничего не утаю, потому что это просто незачем, и вообще я не знаю, что это такое и как это делается, и зачем!

– Ну все! Бегу! А то учиться опоздаю! Приходите в субботу!

Похоже, он ничего и не ответил, просто улыбался и смотрел ей вслед, стоя под колоннами большого серого здания.

* * *

Они сидели с братом за круглым обеденным столом, покрытым белой узорчатой скатертью, прямо под низким матерчатым абажуром с бахромой, и пили чай с коньяком. Они переживали тот момент, когда обед уже завершен и надо бы встать из-за стола, как встали женщины, отправившись на коммунальную кухню мыть посуду, но вставать, хотя бы для того, чтобы прогуляться по двору, очень не хотелось. Чаепитие тянулось медленно еще и потому, что Константину Алексеевичу нужно было о многом рассказать брату. Стараясь говорить тихо, зная специфическую акустику коммуналки, братья сидели рядом, почти касаясь головами.

– У меня будет странная миссия в Берлине, Боря, – сказал Константин Алексеевич. Не знаю, как и подступиться.

– А в чем дело? Секретные военные поставки? Вооружение?

– Если бы. Внешне все проще: поставка нашего зерна и вообще всякой там сельхозпродукции за твердые марки. Закупка производственных мощностей и как раз по твоему наркомату, что-то для Ленинградского тракторного. Но это-то как раз и не важно, все налажено, все подписано, как по маслу пройдет, для этого меня и не слали бы. Все сложнее.

– Секретное задание НКВД? Завербовать Кальтенбруннера? Организовать покушение на Гитлера?

– Почти. Только еще труднее, потому что непонятно совсем. Тебе знакомо такое имя – Ганусен?

Борис пожал плечами.

– Это очень странный человек. Вроде артист, вроде циркач, вроде колдун и мистик. Дает в театральных залах своего рода концерты, выступает со странными представлениями, читает мысли людей, на сцене впадает в кому, останавливает собственное сердцебиение...

– Шарлатан?

– Трудно сказать. Не без этого, наверное, хотя, говорят, выглядит это очень убедительно. Вызывает на сцену людей и рассказывает им, например, что они делали вчера, даже не зная их по имени. Или, к примеру, просит кого-нибудь из зала написать на бумаге приказание: подойти к седьмому ряду, достать из кармана жилетки господина, сидящего на пятнадцатом месте, монокль и положить его в сумочку дамы, сидящей на седьмом месте, или что-то в этом роде. И не зная, что в бумаге, читая чужие мысли, выполняет приказания. Обставлено все очень красиво, публика в восторге.

– Какое вся эта чепуха имеет отношение к дипломатии вообще и к внешней торговле в частности?

– В этой командировке вся внешняя торговля – прикрытие, легенда. Мне надо выйти на этого Ганусена.

– Вот это да! Ваш наркомат занялся артистами-шарлатанами?

– Считаю что так, Борь. Ты со своей инженерной мыслью о тяжелой промышленности вряд ли во все это вникнешь. Скажи лучше, у тебя с двадцатых годов не осталось каких-нибудь немецких связей?

Два брата были очень близки, их связывала и любовь, и истинная мужская дружба, и общность судеб, обусловленная временем. Оба, не получив систематического образования, а тем более высшего, смогли стать людьми очень грамотными и нужными, каждый в своей сфере.

Но и разница между ними была очень велика. Константин, оказавшись с середины двадцатых годов на дипломатической службе, за три месяца легко овладевал языком страны пребывания, не прикладывая к этому видимых усилий. Он свободно говорил на английском, немецком и французском языках. Акцент, конечно, был, но не мешал, ему и не требовалось выдавать себя за кого-то другого. Он был советским дипломатом, государственным чиновником, занимающимся внешней торговлей. Напротив, у Бориса не было такой легкости, способности хватать на лету, его стихией была организация и инженерия. Образования явно не хватало, поэтому по настоянию Серго Орджоникидзе он поступил в политехнический институт на индивидуальную форму обучения: к нему на дом вечером после его работы приходили преподаватели, отчего Борис чувствовал ужасное неудобство, поил их чаем и пытался кормить ужином. Вопрос о немецких связях, которые могли сохраниться с двадцатых годов, когда отношения Советского Союза с Германией были наиболее теплыми и тесными, Константин задал наугад, понимая, что Боря, не зная немецкого, вряд ли мог эти связи поддерживать, да и времени на это у него не было.

– Есть, конечно, – ответил Борис. Костя с удивлением поднял глаза на брата. – Вальтер, хороший парень, к нам здорово относится, только как он тебе может помочь?

– Посмотрим. А что за человек?

– Да наш человек! Хороший человек! Практический инженер, специалист по силовым установкам, хорошо по-русски говорит. Только вот политически не очень... До коммунистов не дотягивает. Социалист!

– Какой социалист?

– Национал-социалистическая партия Германии. Вы же, говорит, строите социализм? И мы тоже строим. Только чуть по-другому. Исходя из национальных интересов. Для немцев.

– Так он же фашист!

– Он социалист! Они же пришли сейчас к власти в Германии. Вальтер говорит, что исторические цели у нас общие. Хочешь познакомлю? Только вряд ли он тебе поможет. Он фокусами и фокусниками не занимается.

– А чем он занимается?

– Я же сказал – инженер.

– А у вас-то он что делает?

– Вообще-то он организует наладку станков. Понимаешь, современное производство – это единый процесс. Не куча отдельных машин и станков, а одна общая и очень сложная машина, в которой согласовано буквально все. Поэтому важно, чтобы на любом заводе, скажем, на тракторном, каждый станок работал в системе с другими, иначе просто все встанет. Вот он эту систему и запускает.

– Запустил?

– Где запустил? Вообще-то, давно запустил. Сейчас он, и правда, как-то без дела все болтается. Но поверь, с твоим шарлатаном он никак тебе не сможет помочь.

– Наверное, не сможет. Только дело в том, что Ганусен – не такой уж и шарлатан. Там, Боря, все сложнее. Этот самый шарлатан действительно обладает удивительными возможностями. Читает мысли на расстоянии. Внушает. Гипнотизирует. Но не это самое главное. Он, Боря, будущее может предвидеть.

– В каком смысле?

– Это-то и интересно. Бывает, в самом простом: может сказать человеку, что ждет его сегодня вечером или завтра. И представляешь, все сбывается. А может предсказать всю судьбу. И не только человека. А если историческую судьбу народа? Революции? Государства?

– Гадание на кофейной гуще! Как ты можешь всерьез об этом думать?

– Не знаю, Боря, не знаю! И думаю об этом всерьез не только я, как ты, наверное понял. И не только у нас об этом думают. Этот самый Ганусен предсказал Гитлеру итог последних

выборов. Год назад он предсказал ему то, во что поверить было нельзя – что он станет в этом году рейхсканцлером, представляешь?

Костя сунул руку в карман и достал разорванную пачку. Крошки табака высыпались на пол, на скатерть, почти все папиросы были сломаны. С досадой постучав пустой гильзой по столу, Константин Алексеевич понял, что курить сегодня не придется: брат не курил, папирос у него быть не могло.

– Как это ты так умудрился свой «Казбек» разломать? – спросил Борис. – Как же ты без табаку? Ладно, не грусти, что-нибудь сейчас придумаем! – он встал из-за стола и подошел к серванту, знакомому братьям еще с детства. – Держи! Подарок тебе! – и он протянул Косте вещь, вынутую из ящика. Константин Алексеевич взял из рук брата блестящий новенький серебряный портсигар. На крышке его были выгравированы два снопа колосьев, а между ними – серп и молот. Выше, как бы озаряя их, горела пятиконечная звезда, лучи которой покрывали всю композицию. Открыв портсигар, Константин Алексеевич обнаружил в нем папиросы, по десять штук с каждой стороны. На каждой папиросе тоненьким ободком в том месте, где наполненная табаком бумага переходит в картонную гильзу, тянулась надпись, сделанная зелеными буквами: «Герцеговина флор». – Кури! Между прочим, любимые папиросы товарища Сталина, – сказал Борис, с удовольствием наблюдая за радостным удивлением брата.

– Спасибо! Откуда же у тебя такая красота?

– Подарок нам от руководства ВСНХ. Готовят сейчас Съезд колхозников, а наш наркомат занимается сельхозмашинами. Такой вот подарок в залог дружбы рабочих и колхозников. Всего сто экземпляров таких, представляешь?

– Борь, папиросы выкурю, а портсигар себе оставь, ты что, такими вещами бросаться!

– Костька, это же тебе подарок от меня, о чем ты! Я рад буду, что он у тебя! И бросишь свою дурацкую привычку по карманам рукой шарить! Как бандюган какой, честное слово, будто финский нож в кармане ищешь!

Константин Алексеевич припомнил страшный миг, пережитый им несколько часов назад.

– Спасибо, Борька! Наверное, ты прав, странная привычка.

– Ну да! А так ты одной рукой из портсигара не достанешь! Где там! Тут изволь вальяжно расположиться, двумя руками доставай: раскрой, закрой, убери. И попробуй только потерять! Вовек не прощу!

* * *

Возвращаясь от брата по тем же Миусским улицам, стоя на остановке трамвая и потом в вагоне слушая нытьё одинокого электромотора, окруженного реостатами и трансмиссиями, Константин Алексеевич думал о странных зигзагах в судьбах людей и государств. Вот Германия, единственная страна, с которой совсем недавно складывались по-настоящему добрые отношения. Ведь никто не принимал: ни Англия, ни Франция. Степень отчуждения и враждебности ко всему советскому он ощущал в Лондоне кожей даже! Единственная страна, где хотелось спрятать акцент, да так, чтобы никто не догадался, что ты русский! Около посольства в Лондоне русского шофера, сидящего в открытой машине с посольскими номерами, закидывали помидорами, а полицейские, наблюдая, не вмешивались: это ведь не наносит телесных повреждений. А в Париже? Знаменитый французский снобизм возрастал в геометрической прогрессии, если официант в ресторане узнавал в тебе русского – лакейское презрение прямо изливалось на тебя. Константин Алексеевич усмехнулся, вспомнив забавный эпизод своей первой, парижской, командировки: языка тогда он не знал, денег в кармане в обрез, валюту всегда экономили, жить нужно было на съемной квартире, в посольство не показываться по конспиративным соображениям. Зашел в какой-то ресторан средней руки, посмотрел меню, прочитал

раз, другой, почти ничего не понятно. На третьем прочтении стало что-то проясняться. Подходит официант, обращается по-французски. Тогда Константин Алексеевич сделал заказ: ткнул почти наугад в какое-то блюдо по сходной цене, в названии которого, как показалось, было что-то связанное с мясной закуской. Официант широко открывает глаза, что-то с удивлением спрашивает, объясняет, из его слов понятно только «месье». И угораздило же ему ответить по-русски! Ехидно поклонился и ушел, через десять минут приносит блюдо, закрытое серебряной крышкой, ставит перед гостем. За ним еще официантов и поваров человек семь, все стоят поодаль, наблюдают. Официант крышку не поднимает, раскладывает перед гостем какие-то странные приборы, кривой ножик, щипчики, вытянутую ложечку, салфетку поправляет. Потом, встав на расстоянии полуметра, закладывает левую руку за спину, нагибается корпусом к столу, правой рукой берет за ушко крышки, замирает – «вуаля», поднимает крышку... На блюде лежит абсолютно голая вываренная кость с нежным вытекающим мозгом, который кривой ложечкой и нужно поддеть. И все, мерзавцы, стоят и с интересом наблюдают, что же дальше. Оказывается, как ему потом растолковали, это такое французское блюдо, подаваемое к концу мясного обеда, почти на закуску, для гурманов. Что сделаешь, пришлось как ни в чем не бывало съесть эти несчастные пять граммов костного мозга, расплатиться, оставив на чай, и уйти под насмешливые взгляды всего персонала. Немцы же, как казалось Константину Алексеевичу, никогда себе такого не позволили бы – несмотря на прошедшую войну, несмотря на поражение, на национальное унижение. Нашел бы официант способ объяснить, даже человеку, не знающему языка. Нет, там была эта французская ироничность, язвительность и презрение ко всему нефранцузскому, тем более к русскому.

У немцев этого нет! Да один русский Берлин чего стоит! Не в Лондон же русские эмигрировали! Константин Алексеевич никогда не испытывал неприязни к эмигрантам, скорее, сочувствие. Отношения с некоторыми из них, особенно с теми, кому импонировали евразийские идеи, приходилось даже скрывать от своих коллег. Ему казалось, что еще несколько лет, и столь же мощная волна, что когда-то излилась из России, снова придет, теперь уже в Россию советскую. И вот теперь отношения с немцами готовы не только дать трещину, но и повернуть вспять! И почему? Только лишь потому, что сменился рейхсканцлер! Да какая разница? Когда мы перестанем играть в эти политические лозунги, развешивать ярлыки и ими руководствоваться: фашизм! Реакционный политический режим! Национал-социализм! Ну и что теперь? Из-за этого Гитлера – стенка на стенку? На то она и дипломатия, чтобы глупость политических интриганов нейтрализовать такими связями, которые не разрушить! Константин Алексеевич был уверен в том, что отнюдь не государственные деятели, не правители и не их парламенты выстраивают мировую политику, а штат незаметных дипломатов и работников разведки и контрразведки, которые могут и должны вправлять мозги завравшимся политикам, вынесенным волею случая на гребень власти.

За годы службы Константин Алексеевич точно уяснил, что между реальной политикой, дипломатией, межгосударственными и человеческими связями и идеологией, программами, принимаемыми съездами партий, нет ничего общего. Странная командировка, которая ему предстояла, о которой он пытался хоть как-то рассказать Борису, еще раз утверждала его правоту. В самом деле, в основе нашей идеологии – материализм, истмат и диамат. Мы точно знаем, что логика классово-борьбы предопределяет ход истории. Мы точно знаем, что роль личности в истории крайне мала, что личность может сыграть свою роль только в том случае, если ее устремления совпадают с логикой исторического процесса, определяемого социально-классовыми предпосылками. Так неужели личность какого-то Гитлера, какого-то австрийского мещанина Шикльгрубера может повлиять на советско-германские отношения? Вот его-то задача, дипломата и разведчика, сделать так, чтобы не повлияла.

Итак, этот Ганусен... Станный человек, артист и гипнотизер, которого Гитлер приблизил к себе, сделал не то советником, не то астрологом, не то цыганкой-гадалкой при дворе.

Вроде бы ему верит. Вроде бы прислушивается к советам. В сущности, это ужасно: при определенном раскладе этот человек может взять такую власть над рейхсканцлером, что будет определять германскую политику. Он сам, или стоящие за ним. Значит, надо сделать так, чтобы это были наши люди, те, которые видят в наших отношениях залог наших успехов. Возможно, общих успехов.

* * *

Готовясь к столь сложной командировке, Константин Алексеевич не пренебрегал никакой возможностью, никакими связями, даже самые слабые ниточки стремился вытащить – авось помогут в Германии завязать узелки. Он не оставил без внимания и Вальтера, о котором упомянул Борис. По своим каналам он кое-что о нем выяснил, но это «кое-что» определялось, скорее, как «ничего». Вальтер из собранных НКВД сведений представал как совсем непримечательная и даже невнятная личность: обыкновенный инженер, ничего особенного, так, наладчик уже стоящих в цеху машин, знает станки, способен согласовать их работу – в сущности, совершенно рядовая задача. Член национал-социалистической партии, но при этом расположен к нам, терпеть не может, когда его называют наци или фашистом. Уверяет, что социалист. Болезненно относится к нарастанию в СССР антигитлеровской и антигерманской пропаганды. Семья в Берлине, жена, двое детей. Было, правда, обстоятельство, заставившее Константина Алексеевича пристальнее взглянуть в лежавшие перед ним несколько машинописных листов досье немецкого специалиста: у него не было инженерного образования! Не только высшего, вообще никакого технического! Однако тем образованием, что он получил, можно было гордиться, только вот не в инженерной области. Вальтер фон Штайн окончил Московский университет, историко-филологический факультет. Судя по всему, еще до революции, хотя полученная справка не давала точной даты. И тут была загадка: нынешнее положение Вальтера, командированного инженера по линии Наркомтяжпрома, не тем же объяснялось, что гуманитарное образование оказалось невостребованным, пришлось переучиваться? В общем, это было вполне возможно, хотя... скорее, оно было приложимо в какой-то другой сфере. Какой? Или... Далее можно было только гадать на кофейной гуще.

И все же университетское образование давало какую-то зацепку. Будучи человеком грамотным, знающим и весьма начитанным, но никогда не учась, тем более в университете, Константин Алексеевич питал уважение и интерес к людям образованным. Кроме того, в справке НКВД говорилось, что Вальтер по не вполне ясным причинам прерывает командировку и собирается домой. Срок его отъезда совпадал с началом Костиной командировки, стало быть, можно каким-то образом познакомившись еще в Москве, завести новый контакт в Берлине. В общем, надо знакомиться.

В сущности, это было проще простого – достаточно было Борю попросить о встрече или зайти к нему в наркомат на площадь Ногина. Все будет выглядеть совершенно естественно, тем более что командировка Константина Алексеевича связана именно с делами их наркомата.

* * *

Стать и аристократизм – вот что чувствовалось в Вальтере фон Штайне. Крупный, высокий, подтянутый, умеющий носить свой светлый костюм как собственную кожу, он сразу вызывал симпатию. Типичный немец, белокурый, слегка рыжеватый, голубоглазый, с большим широким лицом, на котором почти всегда при общении появлялась улыбка, выражавшая то согласие, то удивление, но неизменно – искреннее внимание к собеседнику, он сразу заинтересовал Константина Алексеевича. Обменявшись в кабинете у Бориса крепким рукопожатием и парой обычных фраз, они оба взглянули на хозяина кабинета. Возникла даже чуть нелов-

кая пауза, неизбежная, когда один человек знакомит двух других: продолжится ли знакомство, будет ли хотя бы мимолетное общение и обмен еще несколькими фразами, или же вежливое рукопожатие было всего лишь извинением хозяину кабинета за прерванную беседу двоих внезапным приходом некоего третьего. В миг, когда все трое, стремясь прервать паузу, решились что-то сказать, столь же незначачее, на столе зазвонили сразу два телефона, один – прямой наркомовской связи. Этот звонок отсекал хозяина кабинета от гостей, предоставляя их друг другу на время разговора, а правила советского этикета требовали выйти, ведь любая беседа, тем более с наркомом, могла оказаться секретной. В предбаннике, как на новом советском сленге называлась приемная, Вальтер и Константин Алексеевич присели на черный кожаный диван, и вновь повторилось то же: неловкая секундная пауза и две фразы, сказанные одновременно:

– Надолго ли к нам? – произнес Константин Алексеевич, вежливо обернувшись на диване к Вальтеру.

– Какая удобная мебель в советских наркоматах! – в той же позе произнес Вальтер.

Зеркальность поз, когда герои на кожаном диване несколько искусственно поворачиваются друг к другу и говорят одновременно совершенно пустые вещи, лишь подчеркнула комизм момента. Секретарша, сидящая за письменным столом и почти закрытая от посетителей как бруствером окопа огромным «Ундервудом», прыснула смешком, и это вдруг сделало саму ситуацию ужасно веселой. Неловкость схлынула, и два человека, сидящих на диване, весело расхохотались.

– И все же, надолго ли? – спросил Константин Алексеевич, сев естественно и удобно, положив ногу на ногу и утонув в пружинах дивана.

– Увы, нет. И хоть мебель очень удобна, но надо ехать. Как раз сейчас обговаривал с Борисом Алексеевичем дату отбытия.

– И когда же?

– На следующей неделе. Но теперь все будет зависеть от этой милой барышни: ведь важно не сдать документы о командировке. Это вообще ничего не значит; важно их принять. И если она их не примет, то я останусь в Союзе Советов ее пленником – навсегда!

– На вашем месте, Вальтер, я не тяготился бы подобном пленом!

– О, нет! Втайне я желаю его, и моя любовь к родине входит в тягчайшее противоречие с этим моим ужасным, страшным тайным желанием!

Вальтер достал из кармана пиджака портсигар, почти в точности такой же, как подарил Константину Алексеевичу брат во время их последней встречи. Косте даже подумалось, что он из той самой серии, но он не успел разглядеть рисунка на крышке: раскрыв портсигар, немец протянул его собеседнику. Константин Алексеевич машинально взял папиросу. Достав свою, немец постучал о край высокой пепельницы на узкой ножке, стоявшей по левую сторону дивана, вытряхивая из мундштука табачные крошки.

– Не хочу давать советы, – произнес Константин Алексеевич, критически рассматривая папиросу, – но стоит ли закуривать до обеда? Тем более, что уже третий час.

– Почему не стоит? – удивленно спросил Вальтер?

– Тому есть несколько причин, – глубокомысленно изрек Константин Алексеевич. – Во-первых, сегодня еще никто не курил в приемной, чувствуете, какой воздух? И пепельница чистая. Мы атмосферу неизбежно испортим. Во-вторых, если мы закурим, милое создание, от которого зависит ваша судьба, может расчихаться и вообще увянуть. Ну, и в-третьих, курить после обеда приятнее, чем до. Насколько я могу судить, Борис вряд ли сможет уделить нам время. Бог весть, что ему сейчас наговорит Серго. Давайте не будем его ждать и пойдемте обедать!

Но где обедать? Есть в столовой наркомата Константину Алексеевичу не очень хотелось – там былолюдно, шумно и суетно, это было место, куда приходили есть, притом есть быстро

и просто, но не общаться и разговаривать. Пригласить же Вальтера в хороший ресторан было бы странно для первого знакомства, да и денег на это не было. Хорошие рестораны можно было позволить себе лишь за границей, когда обстоятельства складывались так, что обедать в более или менее дешевой столовой посольства было невозможно. Свои же деньги Константин Алексеевич старался не тратить, чтобы побольше привести домой и порадовать бонами мать и сестренку. Для них поход в Торгсин, где продавалось фактически все, почти как при НЭПе, был огромной радостью и постепенно становился насущной необходимостью: с начала тридцатых годов полки в магазинах стали пустеть. Боны, денежный суррогат, который он, как и все совслужащие, получал, сдавая твердую валюту в бухгалтерию посольства, постепенно превращались из радости и баловства в необходимость, дающую семье возможность пока не замечать угрожающих последствий коллективизации и индустриализации.

И все же, самое главное, состояло в другом. Место обеда было на сегодня определено для Константина Алексеевича: его ждала Аня, и отказаться от этого визита представлялось решительно невозможным. Значит, нужно было постараться как-то совместить приглашение и новое знакомство. А как? Пойти вместе? Удобно ли? И не пропадет ли та тонкая материя отношений, еще не любовных, но почти, которыми он так дорожил? Вальтер тем временем прятал свою папиросу обратно в портсигар.

– Что ж, хорошая идея, благодарю, – сказал он.

Когда они спускались по широкой лестнице наркомата с огромными окнами от пола до потолка через весь лестничный пролет, на втором этаже явственно почувствовался запах буфета и столовой. В сущности, в нем не было ничего неприятного, но так могла пахнуть только столовая, и заходить туда не хотелось. Но Вальтер мужественно попытался сделать шаг навстречу советскому общепиту.

– Стоит ли? – спросил Константин Алексеевич. – Стоит ли знаменовать наше знакомство обедом в столовой? Я предлагаю кое-что поинтереснее.

Новые знакомые вышли на улицу и испытали то блаженное чувство превосходства, которое дает человеку внешняя свобода: в отличие от подавляющего большинства совслужащих, им не нужно было спешить вовремя вернуться к концу обеденного перерыва, они не были обречены сидеть в субботний, укороченный, рабочий день до пяти часов в своих конторах, министерствах, бюро и комитетах, они были свободны выбирать, где им обедать, с вином или без, и как долго.

– Вы знаете, Вальтер, я нахожусь в некоторой растерянности относительно того, где нам отобедать. Не сомневаюсь, что за время московской жизни вы обошли множество ресторанов. Так?

– Так, так. Это, пожалуй, единственное, что у вас осталось со времен НЭПа почти в нетронутом виде. Кстати, почему их все не разорили пару лет назад, как вы думаете?

– Я думаю, Вальтер, что мы с вами пока еще не в тех отношениях, чтобы свободно и доверительно обсуждать политику советского правительства. Так же, как и немецкого, правда? Она ведь тоже сильно изменилась за последние месяцы, да? Лучше я продолжу свою мысль о перспективах нашего обеда. Пару дней назад я неожиданно получил приглашение от своей сослуживицы: она справляет новоселье. Мне была обещана запеченная в духовом шкафу курица с золотистой корочкой. Я надеюсь, что Анна не обидится на меня, если я поделюсь радостью посещения ее дома со своим новым другом. Может быть, для вас это будет даже интереснее, чем ресторан. Мне, когда бываю за границей, намного интереснее частная жизнь, чем публичная, если в нее, конечно, удастся заглянуть.

– С удовольствием приму приглашение, если это удобно. Что же касается частной жизни, то буду рад приоткрыть вам хотя бы свою. Будете в Берлине – милости прошу.

– Благодарю. Буду, и довольно скоро. Кстати, выезжаю почти одновременно с вами, на следующей неделе. И тоже пока нет билета.

– Командировка?

– Да, как раз по делам вашего наркомата. То есть нашего, конечно, советского, который вас принимал.

Константин Алексеевич не сразу, но все же решился пригласить Вальтера. Ситуация складывалась вполне естественная, и придя с другом (курицы-то ведь и на троих хватит?), можно было избежать неуправляемого поворота к любовным отношениям, как бывает, когда люди оказываются вдвоем, и никого рядом нет... Не то чтобы он боялся их, или не хотел – скорее, наоборот... Но прелести в отношениях неопределенных, где грань между дружеской симпатией и быть может зарождающейся обещающей любовью еще не определена, было больше, как в дорогом подарке, который не хочется до времени раскрывать, наслаждаясь гаданием: а что внутри?

Улица Палиха, узкая, неудобная, вихляющая, сочетавшая старые деревянные дома, красные купеческие кирпичные двух- и трехэтажки с новыми, более высокими, но какими-то уж совсем барачного типа строениями, вся гремела и звенела – трамваями, ломовыми телегами и почему-то мотоциклами. Проехал-то, вернее всего, один, но так навонял сизым масляным дымом и так настрелялся выхлопной трубой, что представить его единственное число было невозможно даже грамматически. Черные «эмки» рывкали друг перед другом моторами, выпятив круглые остекленевшие глаза и не будучи в состоянии разъехаться из-за звенящего что было мочи трамвая. Пешеходы жались и шарахались по узким тротуарам. Свернув во двор, новые знакомые, переглянувшись, облегченно вздохнули, прислушиваясь к относительной тишине московского двора.

Константин Алексеевич впервые увидел Аню дома, а не на работе – и почти не узнал. На три звонка дверь открыла легкая красивая девушка в ситцевом платье, приталенном, синем в белый горох, подчеркивавшим красивую фигурку широким белым поясом.

– А я пришел с другом, – как бы извиняясь произнес он. – Вы нас двоих примите?

– С другом так с другом! Вассал моего вассала не мой вассал, но друг моего друга – мой друг! – Аня как всегда была и хороша, и быстра, и весела. Она провела гостей через небольшой коридор, где стояли два шкафа и сундук, а у дальней двери жался велосипед, в свою комнату, где за круглым столом, тоже под абажуром, тоже посреди комнаты, был накрыт стол на двоих, ловко поставила третий прибор и умчалась на кухню.

– Я за обещанной курицей!

– О ней знают не только все соседи, но и весь подъезд: мы по запаху шли и вас нашли, – сказал Вальтер.

Стоя около стола в ожидании хозяйки, когда как-то неловко присесть и остается либо завязать разговор, либо начать рассматривать и комментировать книги на полке, либо выглянуть в окно и похвалить открывшийся пейзаж, Константин Алексеевич выбрал первое:

– Откуда у вас такой прекрасный русский, Вальтер? Вы говорите практически без акцента.

– А вы не знаете? – Вальтер сделал паузу и с наигранным удивлением посмотрел на Костю. – Разве вы не... Разве вам брат не говорил?

– Вот те на! Ну, Борис! – воскликнул Константин Алексеевич, пытаясь изобразить удивление и даже досаду на брата. – Все расскажет, даже о том, что мы братья! Хорошо коли другу! А то ведь знаете один из нынешних лозунгов: болтун находка для шпиона! Когда ж он успел?

– Борис Алексеевич ничего мне не говорил о вас. Даже не представил по фамилии, что было бы естественно.

– Откуда же вы знаете?

– Константин Алексеевич, вы очень симпатичны мне – именно поэтому я принял ваше приглашение и нахожусь здесь, в гостях у вашей обворожительной знакомой. Надеюсь на взаимную симпатию, не думаю, что лишь профессиональный интерес заставляет вас тратить свое

время на меня. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы между нами были какие-либо недоговоренности и вообще игры, свойственные людям нашей профессии, когда мы общаемся с другими или, еще хуже, с дилетантами. Мы с вами коллеги, Константин Алексеевич, и этим сказано все.

– Позвольте, вы тоже дипломат?

– Нет, я инженер. Вы же знаете.

– Ну вот видите! А я при виде любой математической формулы могу упасть в обморок, не то что заниматься тяжелой промышленностью и станками! Куда там.

– Мы коллеги, Константин Алексеевич: только вы работаете на НКВД под дипломатической крышей, а я на СД, на германскую разведку, под крышей частной инженерной фирмы. Разница, согласитесь, не велика. Именно поэтому я уверен, что, прежде чем встретиться со мной, вы просмотрели все документы, собранные обо мне НКВД. И, вероятно, знаете, откуда у меня такой русский.

Слова Вальтера были не просто неожиданными – сказанные совершенно спокойным тоном, как если бы речь шла о вечерней прогулке, они ошеломляли. В первую очередь, откровенностью, которая не могла быть спонтанной, – это был просчитанный и продуманный загодя шаг. Стало быть, и он готовился к этой встрече, и для него она не была случайной. Поражала и его информированность, хотя то, что, оказывается, он знал, было и правдой, и не совсем правдой: Константин Алексеевич никогда не был офицером НКВД, но находиться на дипломатической службе и не быть в контакте с чекистами было и невозможно, и не нужно. Напротив, с чекистами – разведчиками у него были добрые и, действительно, профессиональные отношения. Иногда ему и в самом деле казалось, что он, скорее, разведчик, нежели дипломат. С теми же отделами НКВД, которые занимались контрразведкой, или же выполняли функции политического сыска, он никогда не имел дела: он не интересовал их, они – его.

Дверь в комнату начала подрагивать – как будто кто-то хотел открыть ее, но не мог, – и раздался голос: мужчины, помогите! Аня, держа на руках блюдо с зажаренной курицей, пыталась справиться с неожиданной проблемой. Это-то и спасло Константина Алексеевича от ответной реплики: не вести же такие разговоры в гостях, в обществе столь обворожительной девушки, и дело даже не в конспирации, а просто все дела разведок, контрразведок и прочего становятся чепухой и дребеденью, когда такая женщина рядом – примерно это попытался выразить улыбкой, взглядом, легким пожатием плеч Костя, глядя на Вальтера, уже подхватывающего тяжелое блюдо из рук Ани.

И только тут Константин Алексеевич понял свою оплошность: он пришел в гости с пустыми руками! Думал зайти в магазин, но потом все внимание переключил на Вальтера! Хоть бы бутылку вина да конфет шоколадных коробку! Он почти уже готовился извиняться, думая, как лучше свою неловкость перевести в шутку...

– Прошу к столу, товарищи! – провозгласила Аня, удовлетворенно но и придиричиво осматривая сервировку. – Вы у меня первые гости!

– Новоселье, а нам даже не с чем бокалы поднять, нечем чокнуться! Ну и гостя же вы пригласили, Аня! Честное слово, я не сообразил... не успел как-то, то ли забыл...

– Как нечем? Что забыл? Константин Алексеевич как всегда шутит! – перебил его Вальтер. – Конечно же, мы пришли с вином, как могло быть иначе?

– Вот здорово! А где вино? – спросила Аня. – Я, честно говоря, про вино тоже забыла, вот хороша, гостей созвала!

– Вино у меня – ответил Вальтер. – Попробуете его найти? – действительно, у него не было ни портфеля, на пакета, ни свертка. Вальтер приподнял руки вверх, показывая, что неоткуда появиться вину. – Маленький фокус известного иллюзиониста! – он повернулся спиной, постоял так несколько секунд, производя какие-то манипуляции с полами пиджака, и повернулся вновь лицом, держа в правой руке зеленую высокую бутылку вина: «Черный доктор»,

господа! Крымское вино. Коллекционное, урожая 1926 года. Надеюсь, наша дама не будет нам за него пенять?

– Какая красота! Откуда такое? И раньше-то его купить было невозможно. «Черный доктор» – это что-то такое, из детства, далекое и теплое, как разговор родителей, который ты слышишь, засыпая. Мы тогда ездили в Крым отдыхать, в Коктебель, война года два как закончилась. Место дикое, несколько домов, народу почти что никого, бухты потрясающие, море, солнце... И это вино – «Черный доктор». Тогда только стало кое-что появляться. Его мама очень любила. Ну и мне попробовать тоже давали чуть-чуть, – перевела Аня ностальгическую ноту воспоминания о бухтах Коктебеля в свой всегдашний радостно-веселый тон.

– А действительно, откуда вино? – спросил потрясенный Константин Алексеевич.

– Как откуда? Да помилуй бог! Торгсины торгуют не только за боны, но и за наличную валюту. За немецкие марки, например.

Вино оказалось и в самом деле изумительным, сладкий вкус вовсе не мешал проявлению терпкости и аромата крымского черного винограда. И когда курица была доедена, а запеченная с нею вместе картошка еще раньше, когда на столе осталась только тарелка с несколькими пучками зелени, Константин Алексеевич заметил, что сейчас, пожалуй, самое время закурить!

– Курите, курите! От этого жилой дух в доме... И мужской! – разрешила Аня, весело и ловко готовя на столе перемену к чаю. Обеденные тарелки, большие, белые, кое-где со стертой эмалью, с переплетенными голубыми и розовыми каемками по краям, остатки дешевого дореволюционного кузнецовского сервиза, оказались на черном жостовском подносе, им на смену приходили синие чайные чашки тонкого старого фарфора, почти прозрачного, если бы не синий кобальт, стеклянная ваза с шоколадными конфетами, а также этажерка из трех тарелок на высокой железной ножке, где лежали вафли и печенье с гравировкой «Красный Октябрь».

– Как у вас оказалось вино? Как вам удалось меня спасти и загладить мою неловкость? Вы же не знали, что мы идем в гости. Эта мысль мне самому-то не сразу в голову пришла, – сказал Константин Алексеевич, затягиваясь папиросой, когда Аня вышла на кухню хлопотать по поводу чая.

– Но ведь она же пришла вам в голову, и мы здесь оказались, – ответил Вальтер.

– Даже если предположить, что вы умеете читать чужие мысли, то прочесть мою вы смогли лишь только после того, как она у меня появилась, но не раньше. Как же вы знали, что мы идем в гости? Да и где было вино, где вы его прятали?

– Ну, это простой трюк, в общем-то элементарный фокус, даже говорить не интересно: пришта такая петля под полый пиджака...

– Как у Раскольниковова?

– Помилуй бог! – воскликнул Вальтер. – У меня нет топора, да и старухи тут тоже нет.

– Предположим. Но как вы узнали, что именно сегодня вам понадобится вино? Не всегда же вы носите с собой бутылку, купленную в Торгсине, где торгуют не только за боны, но и за валюту?

– Видите ли, это сложный вопрос. Если хотите, философский. И поверьте, он меня волнует не меньше, чем вас. Да, сегодня утром, еще не будучи с вами знаком, я знал, где окажусь во второй половине дня. Поэтому перед визитом в наркомат я зашел в Торгсин.

– Как это возможно?

– Честно говоря, не знаю. Просто знал, и все. В общем, иногда у меня так бывает... По пустякам, на бытовом уровне.

– Это невозможно даже теоретически. Мы с вами познакомились несколько часов назад. Вы не имели ни малейшей возможности знать о моей случайной встрече с Анной и о ее приглашении... даже если взять во внимание ваше странное признание. Решение придти к Анне, да еще вдвоем с вами, возникло спонтанно, когда мы спускались по лестнице наркомата. Как можно знать то, чего еще попросту нет.

– Я точно не могу вам сказать, но кое-какие соображения у меня есть... если они не покажутся вам совсем бредовыми. Видите ли, мы ведь живем в мире иллюзий, и, возможно, самая большая иллюзия – это время. Возможно, что времени-то и нет. То есть нет прошлого, которое вроде бы за нашей спиной, нет будущего, которое вроде бы впереди. То есть они существуют, но, как бы это выразиться, одновременно. То, что было, никуда не ушло, а существует рядом с нами, и будущее тоже есть, и тоже рядом. Время, с позволения сказать, превращается в пространство, если встать на такую точку зрения, а мы с вами как бы идем по этому пространству в строго определенном направлении – из прошлого в будущее. Но некоторым иногда удается, ну, не то чтобы погулять по этому пространству, самим выбирая маршруты, побродить, что ли, хотя возможно и такое, а чуть-чуть заглянуть вперед, увидеть нечто вроде тропинки, по которой направляешься. Вот и у меня что-то похожее подчас получается. Как вам такая гипотеза?

Странное чувство завладело Константином Алексеевичем: это было чувство рыбака, в самое сердце которого отдается рывок удилица с крупной рыбиной, и одновременно это было что-то похожее на то, что, скорее всего, чувствует карп или сом, заглатывая наживку и ощущая во рту или в горле острие крючка, который, еще, как кажется, можно и выплюнуть. Он чувствовал себя и охотником, и жертвой одновременно, и не мог понять: ему ли улыбнулась удача встретить человека, который, возможно, мог понять загадки Ганусена, или же он будет помогать кому-то что-то понять в скрытой от него игре.

– Да, все это очень интересно: физика времени, Эйнштейн, теория относительности, – несколько небрежно проговорил Константин Алексеевич, но небрежность получилась наигранной. – Как жаль, что я не понимаю языка формул!

– Ах, Константин Алексеевич, Константин Алексеевич! Пусть сегодня будет день, когда я с вами откровенен, но не имею шансов на взаимную откровенность. Я подожду – ведь будет и завтра, и послезавтра. И, заглядывая вперед, – вдруг я и сейчас могу это сделать, разглядеть, что там, на тропке будущего, куда мы с вами направляемся? – скажу: я терпелив, и терпение мое вознаградится... Нет, вы только подумайте, какие чудесные перспективы открываются перед всеми нами: ведь если мы видим будущее, мы можем его изменить, поправить по своему усмотрению. Ну, скажем, два серьезных человека, русский и немец, молодых и сильных, прагматически мыслящих, патриотически настроенных, имеющие кое-какие возможности в своих ведомствах, смогут заглянуть вперед и кое-что подправить, совсем чуть-чуть. А то ведь дела могут совсем не в ту сторону пойти, а, Константин Алексеевич?

Ах ты, бестия белокурая! А то ты не знаешь, что все это уже есть! Что коллеги твои уже давно пристроили этого несчастного Ганусена к твоему Гитлеру и что есть сил внушают через него, что захотят!

– И еще одна откровенность: мне очень-очень нравится ваша Аня!

Когда вечером они вновь вышли на Палиху, уже притихшую и ставшую без машин и ломовиков даже более широкой, дошли до трамвайной остановки и простились, Константину Алексеевичу, сидящему на жесткой деревянной скамейке дребезжащего и звенящего трамвая, показалось, что Вальтер фон Штайн не просто решил прогуляться пешком на прощанье перед отъездом по потемневшей и опустевшей Москве, но вернулся на Палиху. К Анне. Впрочем, точно он не мог этого знать.

* * *

Тяжело опираясь на палку, останавливаясь время от времени, чтобы отдохнуть, и вновь ступая по тротуарному ковру из желтых и красных сентябрьских листьев, старик шел к дому той же дорогой, что и сорок лет назад – по 5-ой Тверской-Ямской. Слева, около Физического института, виднелся через чугунные прутья забора заросший запустелый сквер – старик понял, что именно оттуда наносит на тротуар опадающие листья осени, последней для него. Оказав-

шись на перекрестке с 3-ей Миусской, он увидел незнакомые дома. Один, высокий и безвкусный, желтоватого белесого кирпича, был пристроен, просто-таки приляпан к Дому композиторов. Он вновь поразила безвкусице строительства последних десятилетий: в новых районах, в тех же его Черемушках, она не так бросалась в глаза, здесь же была совершенно очевидна. Какой-то странный регресс, упадок без всяких видимых причин: ни войны, ни беды, ни наводнений... Да и улиц – ни Тверской-Ямской, ни Миусской, не было. Была улица Фадеева и улица Готвальда. Ладно Фадеев, писатель какой-никакой, функционер литературный, но Готвальд! Да кто вспомнит этого чеха через год после смерти? Да кто из тех, что идет сейчас по этой улице, да хоть тот подросток в серой школьной форме и с галстуком обкусанным – обсосанным, будет знать, кто это такой? Да и сейчас знает ли? А вот Миусской больше нет.

И все же это был его сквер, его улицы, его места. Пройдя в арку дома композиторов, он увидел Борин дом, который почти не изменился: штукатурка только кое-где облетела, обнажив причудливую смесь красного и серого кирпича, да сам дом из серого превратился в розовато-грязный. Надо же было такую краску найти, какого-то поросычьего, что ли, цвета! Действительно, регресс... Только природа пока та же, столь же прекрасна, совершенна и равнодушна. И нет ей дела, умирать ли тебе сегодня, завтра, послезавтра или через сорок лет. Расставив ноги и опершись двумя руками на палку, старик осматривал освещенные солнцем осенние деревья, дивясь удивительной гармонии соотношения желтого, красного и зеленого цветов. Ведь это гармония осени, гармония увядания. Почему так легко и совершенно увядание в природе, почему не ужасна смерть листьев, травы, дерева, и так страшна смерть человека? Потому ли, что мы знаем о ее неизбежности на протяжении почти всей жизни, а ни что живое не знает? Или есть какая-то порочность в самом человеческом существовании, которая так жестоко наказывается знанием и пониманием неизбежности? Если бы смерть человека была столь же прекрасна, как осенняя смерть природы!

Старик повернулся и, запрокинув голову, посмотрел на два окна, выходившие из комнат, которые некогда принадлежали его семье: какая там сейчас жизнь. Ничего, кроме невнятных занавесок и приоткрытой форточки он не увидел. И хорошо! Как мог бы он представить сейчас чужую обстановку, чужие обои, какие-то новые люстры с тремя желтыми рожками вверх, одинаковые, модные, стандартные, купленные в магазине «Свет», вместо абажура над круглым столом? Какие полки навешаны на стену вместо старого темного резного серванта? Господи, что же это за пространство такое – время, по которому мы ползем всю жизнь, теряя самое дорогое? И ползем почему-то в одну сторону? Почему отступить-то нельзя, отползти в родное время, в свое?

И все же не только горечь, но и неизведанное ранее наслаждение завладевало стариком. Как будто сам воздух миусский, старый, московский, осенний и прелый, почти без привкуса городской копоти, помогал стоять или идти; как будто эти улицы, прямые и перпендикулярные, столь не характерные для старой, да и для новой Москвы, образующие четырехугольник Миусской площади, несли в себе его время, то, когда он был молод, кому-то нужен и не одинок. Кому нужен? Матери, братьям, сестре. Другим. Стране. Партии, государству. Он не делал разницы между страной, партией, государством. Им он был нужен, и это давало силу и уверенность. Сейчас не был нужен никому. Матери и братьев не было. С сестрой дороги разошлись, да, конечно, сам виноват, но легче ли от того, что сам виноват? Нет. Партия, страна и государство, когда постарел он и когда подросли молодые и более хищные, рвущиеся в загранкомандировки как мухи на мед, горло перегрызающие друг другу да и вообще всем, кто на дороге оказывается, – тогда партия и государство в лице его министерства просто выбросили его на свалку истории, в малогабаритную хрущевку на московской окраине, устроив предварительно партийное собрание Министерства внешней торговли, и забыли о его существовании – доживай.

Собственно, с этого собрания в пятьдесят седьмом и начался его спуск вниз. Это было – как перелом жизни, как неизбежное и незаметное поначалу изменение траектории полета птицы, в которую попадает не весь дробовой заряд, а, скажем, одна дробинка – тогда траектория полета медленно превращается в траекторию падения. Так и с ним случилось. Два десятилетия до этого собрания он жил в страхе – за себя и за брата, который исчез в тридцать седьмом году. Тогда он оказался врагом народа, а в конце пятидесятых – необоснованно репрессированным. Представить себе, что Боря – враг, было невозможно, да и кто верил, что люди, родные и неродные, жившие рядом, бок о бок, исчезнув внезапно ночью, становились врагами, будто попадали в некое зазеркалье, где все оказывалось наоборот: правое – левым, черное белым, а друзья – врагами? Самые, наверное, тупые верили в мистические социальные трансформации того зазеркалья. В основном, конечно, не верили, но от ужаса делали вид, что верили. Вот этот-то ужас и навалился на него тогда: за себя и за Бориса. Никому в своем министерстве не сказал об аресте брата, и ведь никто не узнал, не сработали тяжелые и неповоротливые шестерни энкавэдэшной машины. Не сошлось что-то, хоть и фамилия одна, и дружили очень, и знали все об этой дружбе, но вот, не сошлось! Но ведь не сказать товарищам, не сообщить в партбюро о постигшем горе безысходном, не отречься многократно и публично, на собраниях, бия себя в грудь и клянясь в собственной верности под сладострастные обличения очередных партийных докладчиков – это тоже преступление! Ты сочувствуешь брату – предателю? Не виновен? Не враг? Органы не ошибаются! Просто ты, дорогой товарищ, личное – любовь к брату, видите ли, – ставишь над общественным – любовью к партии Ленина-Сталина! И лично к товарищу Сталину! Двадцать лет носил эту тайну в груди, никто на работе не знал, а на двадцать первый, уже после хрущевского съезда, вдруг дрогнуло что-то – сам написал в партком министерства. Вот тут-то и грянуло! После двухчасового разноса на общем партсобрании болел целых два месяца. А когда вернулся на работу, понял, что – все! Все! Хотя вроде не изменилось ничего, но его уже не существовало в министерстве. Ему просто как-то не стало места. Не стало дела. Это разительное чувство привело к какой-то атрофии воли и обессилило полностью. Тогда он стал стареть, стареть стремительно. Сам не узнавал себя в зеркале, отворачивался, старался не смотреть. А потом вернулся приятель из долговременной командировки, и не узнал! То есть вообще не узнал, столкнувшись лоб в лоб, прошел мимо! Так и остался тогда Константин Алексеевич стоять в шикарном мраморном холле нового мидовского небоскреба, изготовившись для рукопожатия и дружеских объятий, похлопываний, глядя вслед садящемуся в скоростной лифт человеку. Тот вошел в кабину, нажал кнопку этажа, повернулся лицом к автоматическим дверям, взгляд скользнул по холлу и остановился на Константине – и в этом взгляде сразу были радость узнавания и ужас узнавания, как смотрят на покойника, угадывая измененные смертью знакомые черты. Старый товарищ устремился назад, в холл, почти шагнул из лифта, но двери закрылись, кабина умчалась ввысь, судя по мельканию зажигающихся лампочек на световом табло, а он остался стоять внизу, в холле, на выходе. В своей дурацкой позе. Шаг в лифт, несущий ввысь, к успеху, был уже невозможен. И в этой невозможности была какая-то мистическая предопределенность, напрочь отнимающая надежду.

Почему он стал вспоминать сейчас пятьдесят седьмой? Ведь было не в этом месте, а на Смоленской площади, здесь течет совсем другое время, здесь пространство его десятилетий. Вот из этого подъезда Боря провожал Вальтера на Брестский вокзал, в ту самую командировку. У Вальтера был легкий желтый кожаный саквояж, вещи все ехали в багажном вагоне, он зашел к Боре проститься, так вместе и пошли к Белорусскому вокзалу. К Брестскому. Как все коренные москвичи, братья любили бравировать старыми московскими названиями, это был легкий форс, как и московская манера говорить, растягивая гласные, подчеркнута акая. В сквере у Брестского вокзала они и встретились тогда. Оба билета на поезд были у Бори, он и заказал им купе СВ на двоих. Конечно, это была некоторая вольность со стороны Константина Алексее-

вича – не покупать билет через свой наркомат одновременно с оформлением визы и прочих документов, но тогда он мог это себе позволить.

Старик почувствовал, что ему необходимо оказаться около Белорусского вокзала, тем более, что, в общем-то, все равно было, куда идти: к Новослободской или Белорусской. Расстояние примерно одинаковое и одинаково труднопреодолимое. Тем более, что новая дорога, вниз по улице Готвальда на улицу Горького сулила пребывание в том же времени, возвращение из которого в семьдесят третий было неотвратимо, но можно было чуть-чуть оттянуть.

Сквер перед вокзалом изменился, в центре возвышался теперь памятник Горькому – от советского правительства. Машин вокруг сквера было очень много, грузовики мешали легковушкам, пробка образовывалась постоянная. Тогда машин было меньше во сто крат, о пробках вообще не знали. Да и машины были другие – черные, совсем иной формы, строгие. И дышалось легче. Потому что машин было меньше? Или потому что время было его?

Скамейки в сквере расположились полукругом вокруг памятника, и не оказалось ни одной свободной. Старик облюбовал ту, на которой сидели двое – парень лет семнадцати и девчонка, оба длинноволосые, с сигаретами и в одинаковых ярких синтетических куртках. В руках у одного из них был прямоугольный пластмассовый черный ящик, из которого вырывались какие-то невнятные звуки – то, что это можно назвать музыкой, старик не понимал. Осторожно, перенеся опору с палки на ноги, он сел на другой край скамейки – молодые люди не обратили на него ни малейшего внимания. Как, впрочем, и он на них. Случайно сойдясь на короткий миг в одной точке физического пространства, они принадлежали разным измерениям, разным временным континуумам.

* * *

– Ну что ж, посидели на дорожку – и хватит! – сказал Борис, вставая. Держи! – обратился он к брату, подавая матерчатую сумку. Мать с сестрой вам в путь-дорожку собрали поужинать-пообедать. Ну и тебе кое-какие теплые вещички. Пошли потихоньку. Поезд через двадцать минут. Как раз сесть и в вагоне расположиться. Пошли!

Вагон СВ оказался третьим, сразу за ним – вагон-ресторан. Отдав проводнику, солидному и серьезному пожилому человеку с седыми усами, закрученными вверх, прямоугольные картонные билеты, которые он тут же положил в кармашки брезентовой планшетки и сделал пометки карандашом сразу в двух блокнотах, они вышли на перрон, тут же закурили. Честно говоря, Константин Алексеевич с трудом привыкал к портсигару – то, что его нельзя было открыть одной рукой, да еще в кармане, несколько затрудняло процесс курения, но повышало его статус: переводило из автоматического действия в ритуальное, требовавшее большей сосредоточенности. Борис с улыбкой наблюдал, как оба его спутника незаметно для самих себя на какой-то миг все внимание сосредоточили на закуривании, замолчав, выключившись из разговора. Прогуливаясь по перрону, подошли к паровозу, стоящему под парами, и Константин Алексеевич подумал, что из всех машин, виденных им когда-либо, паровоз – самая серьезная и одушевленная, живая. Новый сормовский паровоз, которому предстояло тащить вагоны до Бреста, поражал не только своей невероятной локомотивной мощностью, но и, в самом деле, одушевленностью: шесть огромных, выше человеческого роста, красных колес были перекрыты снаружи огромной рехордой, и казалось, что она была нужна не для передачи крутящего момента с ведущей оси на ведомые, а для того, чтобы во время бега добавлять дополнительное ускорение, заставляя машину быстро-быстро перебирать лапами. Паровоз вздохнул и нетерпеливо выпустил пар, что уже окончательно обнаружило в нем живое существо, ибо при этом проявились белые густые усы, почти как у проводника, только устремленные не вверх, а вниз, к самым рельсам. Паровоз вздохнул еще раз, усы исчезли, но тут же раздался оглушительный свист, в результате чего пар появился не внизу, а наверху. Показалось, что паровоз от нетер-

пения и волнения тоже закурил папиросу, сильно затянулся и что есть мочи выпустил дым из обеих ноздрей – много, быстро и со свистом. Очень не терпелось поскорее ехать, поэтому паровоз как бы невзначай пошевелил рехордой, вроде бы просто проверяя сцепку вагонов – вагоны дернулись.

– Забирайтесь в поезд, курильщики, а то не видать вам Берлина, так на вокзале и останетесь! – Боря дружески приобнял обоих за плечи, потом крепко пожал руку Вальтеру, обнял брата. – Удачи, Костя! Пусть у тебя все получится!

* * *

Вагон мягко покачивался, чуть слышался перестук железных колес, за окном мелькали московские пригороды, кое-где виделись вновь отстроенные дачи, большие двухэтажные деревянные дома, окруженные штакетником, огороды, перелески, болота, поля. Константин и Вальтер сидели в купе, друг перед другом, почти в одинаковых позах, откинувшись на плюшевые спинки диванчиков, положив ногу на ногу – и молчали. Начало дороги, долгого пути, когда в поезде предстояло провести две ночи и день, настраивало на молчание и тишину. Дорога вдвоем была тоже испытанием: ведь милую светскую беседу можно поддерживать ну час, ну два, но ведь не тридцать шесть часов подряд. И все же Константину Алексеевичу казалось, что и этого времени будет им мало – столь интересен ему был этот высокий подтянутый немец в неизменном элегантном сером фланелевом костюме и в черных штиблетах, одна из которых поблескивала сейчас лаком в бьющем через окно луче заходящего солнца. В Вальтере ему виделось достаточно редкое сочетание образованности, ума, интеллигентности и доброжелательности – то сочетание, которое притягивает к его счастливому обладателю других людей. Но главное состояло в другом: он обладал перед Константином Алексеевичем неоспоримым преимуществом, огромной форой, которую получил просто и легко, в первый же день, едва ли не час, знакомства: он был откровенен и легко говорил с ним о вещах, о которых нельзя было говорить! Признаться в том, что он разведчик, что офицер СД! Конечно, за этим стояло нечто непонятное пока, но можно было предположить, что тут кроется расчет Вальтера на откровенность двух профессионалов, которые устанавливают союз – подчас вопреки политической конъюнктуре, возможно, даже вопреки собственным правительствам. И это было, действительно, огромное превосходство: Константин Алексеевич не был готов к подобной взаимной откровенности. Да и с чего бы вдруг? Вся эта странная открытость могла бы оказаться или просто блефом самодовольной актерствующей личности, или же, если предположить, что Вальтер действительно был разведчиком, как раз-таки элементарным непрофессионализмом, замешанным на глупой бравате. Так или иначе, с подобными ситуациями сталкиваться пока не приходилось.

А вагон был действительно прекрасный: зеркало во всю дверь, два плюшевых дивана, бордовый бархат с цветочным рисунком на стенах купе, в цвет ему, но иного тона тяжелые шторы, схваченные книзу золотистыми кистями на витом шнурке, но главное – запах, особый запах нового и чистого, к которому примешивался едва уловимый оттенок запаха железной дороги – паровоза, вокзала, промасленных шпал, пара, – того самого, который всегда знаменовал начало пути в манящее, опасное, неизвестное. И вот это-то сочетание привычного внешнего комфорта, расслабленности, свободной позы, когда любое движение на низком нежащем диване кажется невозможны да и ненужным, уймы свободного времени, когда нет ничего обязательного на время пути, возможность предаться блаженной праздности и лени без зазрения совести, странным образом контрастировало с ощущением приближающейся с каждым километром опасности. В сущности, ничего сверхъестественного ему не предстояло в Берлине, это был лишь первый подход к странной фигуре не то гипнотизера, не то мистификатора, не то ловкого афериста, который и впрямь начинал влиять на нового рейхсканцлера. И все же ощу-

щение опасности было – здесь, рядом, возникло в самом начале пути, из приятного и слегка щекочущего нервы превратилось в противную занозу, которая болела, и боль то отступала, то усиливалась. И где ждала эта опасность – в дороге? В Бресте, В Берлине?

Рука механически полезла в карман – вытащить папиросу – и наткнулась на Борин подарок. Эта неожиданность сломала механический жест и вернула к реальности – два человека, сидящие друг против друга в одном купе и сведенные там отнюдь не волей случая, принявшего вид железнодорожного кассира, но вполне осознанной собственной волей, не проронили за полчаса ни слова. Константин Алексеевич достал портсигар, в котором, конечно же, не осталось уже Герцеговины флор, но лежали другие, купленные перед отъездом, – Дерби, ароматные и достаточно крепкие, и протянул раскрытый портсигар Вальтеру.

– Благодарю, но я курю свой сорт, иначе кашель, беда, – ответил тот, и впервые Константин Алексеевич заметил германизм в его речи. Вальтер достал свой портсигар, казалось, точную копию Бориного.

– Подарок наркомата? – оживился Борис Алексеевич.

– Какого наркомата? Скорее уж, рейхсканцелярии. Боюсь, что в СССР такая символика пока невозможна, – и Вальтер, закрыв крышку, протянул портсигар Косте. И по размеру, и по материалу, и по весу, и по тому, как он ложился в руку, то была точная копия его собственного. Но на серебряной крышке был отчеканен совсем иной рисунок. В центре, как бы осеняя собой композицию, располагалась фашистская свастика, новый государственный символ Германии, а ниже, в противоположные стороны, устремляясь друг от друга, рвались мускулистые немецкие рысаки. Вся композиция производила впечатление удивительной силы, готовой смести любые преграды на пути мощно разгоняющихся скакунов. Не в состоянии отвести взгляда от портсигара, Константин Алексеевич протянул Вальтеру свой, и почувствовал, что тревога как-то неожиданно отступила, рассеялась, и даже свастика, не очень-то приятный символ, не мешала этому. Она была не то чтобы излишней в этой картине или неуместной – без нее композиция распалась бы, – но не она определяла ту динамику, тот витальный энергетический заряд, которыми обладала эта изящная вещица.

– Удивительно похожи! – сказал Вальтер, разглядывая Костин портсигар. – И символика сельскохозяйственная, и композиция, и идея! И даже вес! Вот только папиросы разные. Жаль, что не могу попробовать. Впрочем, рискну.

В его руках появилась бензиновая зажигалка. Они закурили и, когда купе наполнилось ароматным дымом, медленно поднимавшимся к круглой никелированной вытяжке на потолке, Константин Алексеевич подумал, что папироса обладает способностью рассеивать напряжение и завязывать разговор, почти так же, как и вино.

– А между тем в этой схожести мало удивительного, – произнес Вальтер. – В схожести эстетики и тематики, мелочь, казалось бы, проявляется схожесть национальных судеб. Вы никогда не задумывались, как схожи наши судьбы?

– Сейчас, мне кажется, не вполне схожи. Мы строим социализм, у вас – частный и государственный капитализм. У вас к власти пришли фашисты, простите, национал-социалисты, чтобы вас не обижать, у нас руководство принадлежит ВКП(б). Согласитесь, вполне разные социальные системы, политический режим, идеология.

– Я говорю несколько о другом... и вы мне отвечаете на другом языке, если хотите. На этот язык мне не хотелось бы переходить, мало того, я боюсь, что если мыслить на этом языке начнут наши правительства и наши народы, это не может кончиться хорошо. Он может быть пригоден лишь для пропаганды, да и то очень ограниченное время, чтобы уж совсем не заболтаться.

– Какой же язык вы предлагаете?

– А представьте себе, что мы с вами смотрим несколько шире, чем нам отпущено временем. Ну, скажем, имеем возможность заглянуть лет на пятьдесят вперед. Или на сто. Что там

остается от вашей и нашей идеологии? От фашизма? От вашей ВКП(б)? От коммунизма? Ведь то, чем сейчас кипит красная Россия, то, что происходит в Германии, станет уделом кабинетных ученых. Они будут спорить, что было лучше: фашизм ли, коммунизм ли. А мне, честно говоря, и сейчас не очень это интересно. Я бы сказал, все равно. Идеология, режим, фашизм, коммунизм – это всего лишь одежды, которые обветшают, когда износятся – на тряпки пустят, а потом и выкинут за полной ненадобностью.

– А что же останется, позвольте спросить?

– Россия и Германия. Они-то и должны остаться. И останутся. А кто из них носит звездочку на кокарде, а кто повязку со свастикой на рукаве, большого значения не имеет. Это всего лишь обстоятельства, притом случайные во многом. Не более того.

– А я, честно говоря, думал, что как раз сейчас и творится история, и не кабинетная, а вполне реальная. Я более или менее себе представляю, каким будет коммунизм где-нибудь через полвека.

– Я не представляю про коммунизм ничего, хотя и не смею вас разубеждать. Но ответьте мне на такой вопрос. При коммунизме Россия сохранится как государство, а русские – как нация? Или нет? И сохранится ли Германия, будь в ней коммунизм или капитализм? Или же будет мировая революция, и как результат – сплошной интернационал? Как все это представлял себе ваш Троцкий? Насколько я могу судить, Сталин думает уже о национальном, об общенародном, а не о классово-интернациональном. Не заметили, как политика потихоньку поворачивается?

– Может быть, вы способны предвидеть не только неожиданный поход в гости – помните, как с вином давеча? – но и будущее наших стран? Лет эдак на сто?

– Вполне понимаю вашу иронию, сам бы с удовольствием поиронизировал. Но, увы, предвидеть не могу! Подобные случаи бывают у меня весьма редко, да и то только бытовые вещи затрагивают. Хотя сами по себе меня очень интересуют. Сама, так сказать, природа подобного. Пробовал даже тренироваться, ничего не получается, развить этого в себе, наверное, нельзя. Только иногда, очень редко, вдруг приходит некое знание – и все.

– Знать бы, откуда.

– И в самом деле! Как ты можешь знать, что будет через час, или сегодня вечером? Ведь этого еще, как бы сказать, не существует в природе: будущего же еще нет, оно только собирается стать... настоящим.

В дверь постучали, и на пороге купе появился второй проводник, средних лет мужчина в черной форменной куртке и железнодорожной фуражке. От него, как показалось Косте, пахло чем-то очень давним, дореволюционным, что сейчас почти не помнилось, но показалось уютным и ласковым – взгляд ли прищуренных глаз был такой, простая фраза ли сказана с особой дорожной интонацией:

– Чайку желаете? – на подносе стояло два стакана в стальных подстаканниках с темным, хорошо заваренным, густым сладким чаем, это было видно по цвету, по раскрывшейся, набухшей, ожившей чайнке, ставшей опять верхним лепесточком чайной веточки, принявшей и преобразившей в призме стекла оттенки купейного бархата. Но вид раскрывшегося лепесточка вновь вернул ощущение тревоги: способность видеть крохотные детали бытия приходило в минуты опасности, совершенно непонятной сейчас.

Чай стоял на столе, от мягкого покачивания вагона позванивали стаканы в подстаканниках, и этот равномерный звук опять поселил в купе молчание, впрочем, ненадолго:

– Однако, вы, Константин Алексеевич, нарушили свое правило – не курить до еды.

– Дорога настраивает и вносит другой ритм, время в дороге по-другому течет...

– Вот-вот, время, это вы очень точно заметили, – оживился Вальтер. Впрочем, как может течь то, чего нет?

– Чего нет? Времени нет?

– Конечно! Вы его можете пощупать, потрогать? Определить, наконец, что это такое? Может быть, это чистая умозрительность? Почему мы представляем себе будущее где-то впереди нас, а японцы думают, что оно позади? И кто из нас прав – мы или они? Впрочем, бог с ним, со временем – давайте хоть выпьем под хорошую папироску! – Костя невольно бросил взгляд на пиджак Вальтера, думая увидеть под полкой бутылку вина. – Ну уж нет, на сей раз давай обойдемся без фокусов для дам. В этот раз ничего фантастического не будет происходить, я же прекрасно знал, что предстоит поезд, а в поезде я предпочитаю ехать с бутылочкой хорошего коньяка.

Вальтер достал из-под дивана желтый кожаный саквояж и в его руках появилась бутылка коньяка.

– «Ани», шесть лет выдержки. Мне кажется, один из лучших советских коньяков. Армянский! Давайте выпьем за нашу неожиданную встречу, которая, надеюсь, выльется в крепкую дружбу, и за то, чтобы наши цели оказались общими. Так их легче достигать.

Только сейчас Костя хватился сумки, которую передал ему Борис. Она, наверное, осталась на вокзале. Ну да: в зале ожидания доставали билеты, сумку поставил на мраморную скамейку, а чемодан около нее, на пол. Надо же, жалость какая! Старались же и мама, и сестренка, собирали для него... Растяпа! Ну да ладно, без закуски будем.

– Так что же со временем? – спросил Константин Алексеевич, согревая в пальцах железнодорожный стакан тонкого стекла и вдыхая терпкий коньячный аромат. – Если даже представить его, как вы предлагали это у Ани, в виде некоего пространства, то что нам это дает? И если действительно два патриотически настроенных человека, как вы нас с вами давеча определили, попробуют по этому пространству прогуляться, то смогут ли они что-то изменить? Ведь если вашу гипотезу принять, то получается, что все уже и так есть, существует, предопределено, стало быть?

– Сами посудите. Мы спокойно передвигаемся по нашему земному пространству, скажем, по дачному участку, если он у нас есть, конечно же, и при этом легко его можем изменить: можем вскопать грядку, можем не вскопать, можем посадить розы и ухаживать за ними, а можем не посадить и забросить землю: тогда вырастет чертополох.

– Я бы предложил тогда тост за возделывание роз и за борьбу с чертополохом! – произнес Константин, держа стакан на уровне глаз и любуясь цветом коньяка. Тревожное состояние отступило – был ли коньяк причиной того, или сама невнятная причина тревоги куда-то отошла.

– Вот именно! Но я боюсь, что кое-кто и у нас, и у вас уже возделывает кое-какие грядки, культивируя чертополох, как это ни грустно. Поэтому я очень рад, что именно вы будете пытаться каким-то образом найти этого странного мистификатора, Ганусена, что ваши коллеги хотят на него повлиять, хотя и знаю, что это не просто, а может быть, и невозможно. Давайте выпьем за откровенность – как вам такой тост?

Да уж деваться некуда, куда уж откровеннее! Уж и имя назвал! Таиться, похоже, смысла нет. И Константин Алексеевич, как ни в чем не бывало – выучка дипломатическая сказывалась – поднял стакан, который в его сознании давно превратился в бокал, и ответил на тост Вальтера:

– По-моему, откровенность стала хорошей традицией с первой же нашей встречи!

– Нет, дорогой Константин Алексеевич, нет! Я прошу у вас взаимной откровенности! В самом деле, ничего от вас не утаивая, на то же хотел бы рассчитывать. Тут наши с вами интересы сходятся как нельзя ближе. Сами подумайте – ведь мы с вами почти зеркальное отражение друг друга, как наши портсигары немецкого и русского изводов. Мало того, что мы внешне с вами похожи – и ростом, и выправкой, так ведь и службой, да еще и на страны наши смотрим примерно с одинаковых позиций. Вы воспринимаете Германию примерно так, как я Россию.

Я люблю русский язык, русских, Москву люблю, девушек русских, черт возьми! Насколько я понимаю, вы тоже не безразличны к Германии. А может, и к немецким девушкам, а?

– Прошу прощения, Вальтер, но откровенность – так до конца: русские девушки мне нравятся чуть больше, – подержал шутку Костя.

– Бог вам судья! Но если всерьез, то скажу вам, что Россия, конечно же, не стала моей второй родиной, хотя образование у меня русское, да и воспитание, пожалуй, тоже, но эта страна мне дорога так же, как и Германия. Именно поэтому такой страх внушают мне, как и многим моим друзьям, те росточки чертополоха, что замаячили на нашем общем горизонте.

– И что же видно?

– Не хочется говорить даже. Если пойдет так, как хотят некоторые партийные дураки, может быть беда. Не приведи Господи – война...

Уж что-что, а войну с Германией Константин Алексеевич представить себе не мог. Собственно, то, что война будет, и будет неизбежно, говорили часто, но не с Германией же! Зачем? Абсурд! Не лучше ли союзничать – сила-то какая сложится в Европе, другой такой не будет. Да и потом, неужели не хватило прошлой войны, чтобы понять, что нельзя нам друг с другом воевать! Бессмысленно, взаимный разгром, пиррова победа на собственном пепелище! Ну и потом: уж слишком мы похожи друг на друга, чтобы друг друга и мутузить: и нравом, и шутками, и жизнелюбием, даже пивом, да и тем, как жизнь складывалась последние десять лет.

– Я полагаю, что войны избежать нельзя, лет через семь-десять грянет обязательно, но с кем? Кто будет по разные стороны и с кем рядом? – ответил Костя.

– Важно, чтобы мы оставались рядом. Чтобы ваш генеральный секретарь и наш рейхсканцлер не намутили бы какой чепухи – под тряпьем идеологии социалистической или нашей, национал-социалистической, что еще хуже, но разницы принципиальной, впрочем, нет. Но от них не так много зависит, как кажется поначалу.

– А от кого же зависит?

– От стечения множества обстоятельств. У вас же идут чистки партии? Фракционная борьба внутри партии была? Была, пока Сталин не разорил своих противников. Троцкого – и то задавил! Бухарина разгромил! Сталин, конечно, сильнее всех, кто рядом с ним, но от расклада, какой и с кем у него возникнет, многое зависит. То же самое и у нас: все эти недоучки наши полуграмотные – Геббельс, Геринг, Гесс, Гиммлер, Кальтенбруннер тоже ведь расклад определяют.

– Это, я бы сказал, политический трюизм. Вождь, лидер, всегда опирается на соратников и прислушивается к ним.

– Да бросьте вы! Какая там, к чертовой матери, опора! Бешеная борьба озверелых псов! Вы же не на партсобрании и не в наркомате, честное слово!! Неужели страх в вас всех уже так ввелся, что и поговорить по-человечески с вами нельзя?!

– Но я правда так не думаю! – искренне возразил Константин Алексеевич. Может быть, у вас это и так – по крайней мере, когда на площадях раскладывают костры и там жгут книги, притом свои же, немецкие, в этом видится, действительно, нечто псовое. Знаю только, что в двадцатые это было невозможно.

– В конце концов, не имеет никакого значения, как мы оцениваем наци или большевиков. Важно, куда они ведут. И до прихода Гитлера это было не так страшно, а вдвоем эти герои много дров могут наломать. Особенно если к одному из них представлен Ганусен – пустейший человек, этакий современный граф Калиостро, но обладающий несомненной волей внушать и подчинять. Все эти его астральные откровения о призвании немецкой расы двигаться на Восток, которыми он делится с рейхсканцлером, могут очень дорого всем нам стоить. Он, к сожалению, оказался орудием самых черных сил. Его воздействие на фюрера невероятно, несмотря на то, что он чистокровный еврей, его дед был старостой синагоги! – и знаете, почему? Ведь Гитлер болен, у него мании и самая настоящая паранойя. Такой-то человек и

может оказаться в полной зависимости от такого Калиостро. А ваш Сталин – он что, психически нормален? Вы о судьбе Бехтерева знаете?

Константин Алексеевич отрицательно покачал головой – он не знал ничего о Бехтерева. Зато он знал точно другое: этот разговор, буде он известен дома, мог стоить не карьеры, не работы, – свободы и жизни.

– Бехтерев – великий русский психиатр, был приглашен Сталина осматривать и поставил диагноз: паранойя! И в тот же вечер пошел в театр. А из театра домой пришел и помер. Потому что диагноз стал известен пациенту.

Костя почти умоляющее посмотрел на Вальтера.

– Вальтер, мне перестает нравиться наш разговор. Я вовсе не считаю свое правительство, партию, ВКП(б) чем-то совершенно никчемным, как считаете вы. Стоит ли нам спорить по этому поводу, не лучше ли выпить еще коньяка?

– Ладно, умолкаю. Скажу только напоследок, что Ганусена искать – дело совершенно бессмысленное. Выступать он перестал, на публику его теперь не выпускают его новые антрепренеры из рейхстага, доступа к нему нету, рычагов воздействия – тем более. Но Ганусен – это оружие, притом очень опасное после выборов нынешних. А если оружие нельзя отобрать, значит, его нужно обезвредить.

– Как? Что же с этим Калиостро можно тогда сделать?

– Убить, – просто ответил Вальтер.

* * *

Поезд стоял в Бресте около трех часов – меняли вагонные оси. Эта неизбежная остановка, как бы мистически обозначавшая бытийную границу между Россией и Западом, незримую, но совершенно реальную и труднопреодолимую, была на руку пограничникам, неспешно проверяющим выездные документы, а для пассажиров означала некий этап пересечения пространства, порог между двумя мирами. Сормовский паровоз отцепился, бросил состав, выпустил много пара седыми усами на шпалы, как-то обиженно присвистнул и налегке укатил задом по параллельному пути, залихватски попыхивая самокруткой трубы и размахивая рехордами вокруг красных колес – из окна вагона он не казался уже таким невероятно огромным. Через три часа, когда состав будет поставлен на новые оси, в него толкнется другой паровоз, такой же черный, огромный, дымящий и одушевленный, только уже немецкий, и потащит до Берлина.

Дипломатические паспорта давали определенное преимущество: можно было не сидеть в вагоне в ожидании пограничников, но выйти ненадолго в город – либо на вокзал, скажем, в депутатский зал, в ресторан, или же просто побродить, жаль, что кафе, расплодившихся в двадцатые по прилегающим улицам, практически не осталось.

И все же одно местечко было, Костя его знал давно, оно каким-то образом уцелело, не было разорено новым курсом советской истории, сменило лишь название и, наверное, статус, превратившись из кабаре «Западная звезда» в точку общепита № 16. На вывеске были указаны часы работы, а над дверью красовались четыре большие жестианные отчеканенные буквы, отдававшие вопреки наступающей современности не то нэпмановским, не то вообще дореволюционным буржуазным духом: «КАФЕ». Оно располагалось рядом с вокзалом, в подвальчике двухэтажного дома красного кирпича, затерявшегося в маленьком кривом переулке, петляя уходившем от вокзала в город.

– О, здравствуйте, здравствуйте, Костя, когда бы вы знали, как я рад вас видеть в нашем скромном заведении! – бывший хозяин, а сейчас не то администратор, не то официант и бармен в одном лице выходил из-за стойки навстречу гостям. – Как всегда как снег на голову! Хотя бы предупредили, и я приготовил бы лучший в Бресте ужин, какой только возможен в таком времени и месте! Для вас у меня как всегда свободен самый замечательный столик!

Гости оглядели подвальчик кафе – добрая половина столиков была свободна. Они сели на указанный хозяином, сразу же зажглась маленькая настольная лампа под мягким абажуром, создав неяркий приглушенный свет. Кафе сохранило прежний уют, и все же везде чувствовалось увядание, под столетним сводчатым потолком витал дух грусти и прощания.

– Конечно, дорогой Костя, сейчас совсем, совсем не те времена! Знаете ли вы, как трудно теперь сводить концы с концами, чтобы-таки не умереть с голода и прокормить семью? О, вы не знаете! Это говорю вам я, Мойша Гиршман! Но для вас – Мойша наклонился к гостям и перешел на шепот – у нас будет почти все, как пять лет назад – я вас уверяю! Фаршированная щука? Запеченная в тесте баранина с чесноком? Мясной цимес? Уха из судака? Водочка, так, чуть-чуть, для настроения?

Константин Алексеевич рассмеялся – ему нравилась и даже умиляла манера подчеркивать ужасные трудности предприятия, действительно усугубившиеся сейчас, и все же, невзирая ни на что, предлагать гостям лучшее. Точно так же Мойша обращался к нему и десять лет назад, когда Костя проезжал через Брест в первый раз, с пересадкой, поезда нужно было ждать сутки, и случайно забрел в только восходящую тогда «Западную звезду», и пять лет назад, когда дела шли как нельзя лучше.

– Мойша, старина Мойша! А где же твой знаменитый еврейский оркестр? Почему мы не слышим скрипки? Где скрипачи в черных до колен фраках? У тебя осталась только эстрада, но на ней больше никто не выступает?

– Нет, Костя, нет, оркестра не осталось – где? Откуда? Чтоб я так жил! Есть только один скрипач, и то не еврей, а цыган! Старый цыган! Вы представляете? Но он хорошо слышит музыку, и он будет играть для вас! Только для вас! Но позже, когда будет чуть-чуть больше народу. А его жена играет на гитаре и иногда гадает посетителям. Моим гостям. О, вы не знаете, что это за цыганка! Однажды, давно-давно, лет десять назад, она гадала самому Гитлеру! И вы знаете, что она ему сказала? Она сказала, что он станет рейхсканцлером! Вы спросите: что же в этом плохого? И я отвечу: в этом – ничего! Но она еще сказала ему, что он сломает себе шею на востоке! Вы представляете! Оказывается, он это запомнил! И когда Гитлер стал-таки рейхсканцлером, они вынуждены были эмигрировать из Германии. Сначала в Польшу, но, вы знаете, в Польше не очень любят евреев и цыган, поэтому они поехали в СССР. И теперь они у меня. А вы говорите, Костя, еврейский оркестр! Вы как будто молодой и умный человек! Неужели вы не видите, какие времена! Так что же мы будем заказывать? – и Мойша вновь наклонился к гостям с маленьким блокнотиком и карандашиком в руках.

Невысокие сводчатые стены красного кирпича, приглушенный свет настольных абажуров, барная стойка, на которой поблескивали самые разнообразные бутылки, небольшой полукруг эстрады, приподнятый над полом лишь сантиметров на тридцать с задернутым черными бархатными шторами задником, несколько наивное, но искреннее желание угодить гостям, исходившее от хозяина, – все располагало и настраивало на отдых.

– Нет, Мойша, мы не будем ужинать – у нас нет времени, поезд уйдет без нас. Мы выпьем коньяка, кофе, и еще предложи-ка нам десерт – твой бесподобный яблочный штрудель с корицей. Вы не возражаете, Вальтер?

В этот момент на заднике заколыхались и раздвинулись черные шторы и на эстраде появился скрипач. В его облике кроме длинных черных с серебряной проседью волос и бороды не было ничего лубочно-цыганского – ни шелковой косоворотки, ни галифе, ни сапог. Строгий черный эстрадный костюм с поблескивающими лацканами, белая рубашка с небрежно завязанным галстуком, манера держаться несколько надменно, глядеть в зал не замечая людей, сидящих за столиками – все выдавало немалый опыт, жизненный и профессиональный. Когда он, встряхнув гривой, положил скрипку на плечо и прижал ее щекой, в зале вдруг стало тихо. Даже двое, сидевшие спиной к эстраде, перестали говорить, хотя не могли видеть музыканта. Смычок поднялся, чуть тронул струны, потом еще, сильнее, сильнее. Он играл Паганини, и мог

играть так, что все в крохотном ресторанчике слушали бы только его – об этом говорили первые взятые ноты. Но почти сразу же напряжении спало, музыка стала не просто тише, но перестала заполнять собой все пространство зала, превратилась лишь в фон, давая возможность говорить, слышать собеседника, есть, наслаждаться вином. И в этом состоял такт настоящего музыканта, понимавшего, что он играет не в консерватории, но на ресторанной эстраде, такт, удерживающий мощь Паганини, проснувшуюся в смычке старого цыгана. Но Костя и Вальтер были заморожены, они так и застыли, один – с широкой рюмкой коньяка в правой руке, другой – с незажженной папиросой, так и не поднесенной ко рту и не прикуренной. И заметив это, цыган сошел с эстрады и медленным шагом, продолжая играть, подошел к их столику. Он смотрел на них черными замутненными возрастом и музыкой глазами и играл только для них, чуть наклоняясь то к одному, то к другому. Они не смогли бы сказать, как долго длилась музыкальная пьеса. Это было некое наваждение, странную, мистическую причину которого Константину Алексеевичу было дано понять позже.

Музыкант застыл с поднятым над скрипкой смычком и оставался неподвижным, пока она еще звучала и даже чуть дольше, едва поклонился слушателям и так же медленно отошел, скрылся за бархатной занавеской. Только тогда оцепенение стало спадать, вернулось время. Вновь обнаружились люди, сидящие за соседними столиками. Офицер-пограничник рассказывал что-то смешное смущенно улыбающейся молодой даме с длинной папироской, рассеянно глядящей на бутылку вина в мельхиоровой вазе с кусочками тающего льда. Оказалось, что коньяк, налитый в широкую рюмку с сужающимся верхом, обладает еще более утонченным ароматом, чем тот, что пили в начале пути. Но слова, чтобы говорить об испытанном потрясении, пока еще не находились.

– Ваш штрудель, господа! – Мойша подходил к столу с шикарным блюдом, на котором лежали два куса витого яблочного пирога, сверху обильно политого густой коричневой карамелью. – Как вам понравилась музыка?

– Этот цыган – настоящий музыкант, – ответил Вальтер. – Как в кибитке и в таборе можно научиться так играть?

– Я вас умоляю! – воскликнул Мойша. – Какая кибитка? Он никогда не жил в таборе, может быть, в самом начале жизни. Он и его жена – люди высокого искусства. Хотя ее игра не может даже приблизительно сравниться с его игрой. Но я вам скажу даже больше – она артистка в другом! Она не просто гадает, разглядывая чуть ли не через лупу вашу руку, ваша рука ей может быть даже вообще-то и не нужна, она рассказывает вам будущее, просто глядя на вас или имея у себя какую-нибудь вашу незначительную вещицу. Вы знаете, как я отношусь к вам, Костя, а значит, и к вашему красивому интеллигентному другу: я хочу попросить ее, чтобы она вам погадала!

– Спасибо, Мойша, не нужно! Я тоже прекрасно к вам отношусь, но мы с моим другом – люди... достаточно современные, вряд ли нас заинтересует цыганское гадание. Так, Вальтер?

– Конечно. В следующий раз. Думаю, на сегодня нам вполне хватит скрипки... и штруделя, – улыбнулся Вальтер. – Хотя, с другой стороны, продолжил он, когда хозяин удалился, – забавная штука! Мы с вами вполне всерьез обсуждали метаморфозы времени, перспективы Ганусена, который, может стать, такой же шарлатан, как и гадалка-цыганка, но при этом сама идея погадать у цыганки кажется нам абсурдной и даже неприличной для людей нашего круга, в то время, как окажись тут тот же Ганусен...

– Что же здесь странного? Там реальная история, жизнь наций, а здесь – кофейная гуща. Да и сам он интересуется меня... нас постольку, поскольку близок к рейхсканцлеру.

– Я думаю, что не совсем так, Константин Алексеевич. Как это ни парадоксально, в наш век рационализма, практицизма, конструкторской мысли, невиданного рывка военной техники и тому подобных вещей места иррациональному, непознанному или в принципе непознаваемому, мистическому, оказывается больше, а не меньше. Мистики, провидцы, колдуны начи-

нают играть все большую роль. И эта роль медиумов, проводников в более тонкие материи, возможно, в другие миры. Наука, познающая только лишь этот мир, наш, там оказывается беспомощна. Остаются, так сказать, иные пути, более тонкие. Вот отсюда и мистицизм. Я думаю, что Гитлер и Сталин – лишь наиболее яркие свидетельства тому.

– В чем-то вы, пожалуй, правы. Взять хотя бы судьбу этой цыганки, давшей, как нам рассказал Мойша, два пророчества Гитлеру. И ведь он не забыл, и ее искал, вы подумайте только!

– А что же удивительного? Ведь первое пророчество сбылось. А спокойно ждать, когда случится второе, просто, наверное, неразумно. Не лучше ли обратиться к тем же мистическим силам, чтобы его нейтрализовать, если это, конечно, возможно? Самое время искать, так сказать, способы противодействия.

– Ну ладно, Гитлер, но Сталин – и мистицизм? – усмехнулся Константин Алексеевич.

– А почему бы и нет? Вы думаете, образование семинариста проходит даром? Мистические идеи, мистическое восприятие мира внушены с юности, и, не найдя подлинно религиозного выхода, с неизбежностью воплощаются в формы самого мрачного оккультизма. Если угодно, социального оккультизма. А чем бы еще вы объяснили воинствующий атеизм, разрушения церквей, массовые расстрелы православных священников и не только, вообще служителей любого культа? Почему именно они первые оказывались на Соловках? Из-за ленинских заветов? Только лишь?

Общение с Вальтером открывало Константину те стороны жизни, о которых он не думал – имел возможность не думать, ставило те вопросы, которых он сам перед собой не ставил, и сейчас, столкнувшись с ними, не имел ответов. Да и желания на них отвечать. Да и почему, собственно, этот немец мог их задавать? Его Германия – что, безгрешна? Везде есть своя специфика, свои перегибы и ошибки. Лес рубят – щепки летят! Революцию в лайковых перчатках никто не делал! – эти лозунги, заученные едва ли не с детства, казалось, вполне отвечали моменту.

– А как с вашими кострами-то быть? Книги жечь? Чем Томас Манн хуже священника? С этим как быть?

– Да я об этом же и толкую! Что вы, ей-богу, свой большевизм защищать ринулись? Я хочу обратить ваше внимание на то, что в самой политической жизни, партийном ритуале, символике новой власти, даже в костюме, что в нашей свастике, что в ваших звездах, проявляется нечто рационально необъяснимое. Что ритуальный поджог рейхстага, что костры из книг, что ваши политические процессы совершенно безумные, средневековые как с юридической точки зрения, так и по ритуалу, – вот увидите, как года через два-три они у вас раскрутятся, – так вот, все это рационально трудно объяснить. Это, если угодно, создание новой мифологии, мифов о новых нибелунгах, и в основе всего – попытки мистическими средствами получить максимально возможную власть – и политическую, и какую-то иную. Власть над этим миром через другие миры. А ритуальные публичные средневековые действия с тотальным опьянением толпы в своей основе имеют мистические корни.

Константин Алексеевич почувствовал, что кто-то пристально наблюдает за ними. Он оглянулся к эстраде и увидел пожилую цыганку – здесь все цыганское было выставлено и нарочито утрировано: темная цветастая юбка в пол, красная шаль, цветные ленты, вплетенные в поседевшие волосы, такая же лента была обвязана вокруг грифа гитары. Она была одета как привокзальная цыганка-воровка, готовая украсть, обобрать, околдовать. Он помнил, как однажды в Москве на вокзале такая же точно вытянула из него сотню – действительно, выцыганила, обезволив и околдовав. Тогда у него мелькнула странная мысль: цыгане – посланцы каких-то иных миров, темных и враждебных. Глаза ее буквально выворачивали встречного человека наизнанку, и интересовало ее в нем только одно: деньги. У этой же глаза были совсем другие. Взгляд был сильный и тяжелый, он ощущался почти физически, просвечивал насквозь,

но в нем напрочь отсутствовали алчность и корысть, казалось, от нее было невозможно услышать знаменитое цыганское «позолоти ручку». Она медленно прислонила гитару к стене и с каким-то внутренним достоинством, сквозившем в каждом движении, направилась к гостям. И тут Костя понял, что источник тревоги, которая то появлялась, то исчезала в поезде, был здесь, медленно приближался, и нельзя было не смотреть, и страшно было смотреть, и хотелось отвернуться, но не получалось.

– Мой муж играл для вас, и вы поняли его игру. Это не каждому дано, тем более здесь. Вы слышали, что скрывается за его игрой. Вы слышали, о чем он играл. Я благодарна вам за это и хочу присесть за ваш стол на несколько минут. Можно? – голос был богатый, объемный, чуть с хрипотцой. Цыганка отодвинула стул, села. Второй раз в жизни Костя ощутил, как могут гипнотизировать и парализовывать цыганские глаза – он не мог двинуться, не мог ответить. Похоже, с Вальтером происходило что-то похожее, он лишь скованно кивнул, глядя не отрываясь на неожиданную гостью.

– Коньяк? – смог выдавить из себя Константин Алексеевич.

– Нет. Ничего не надо. Я просто хочу немного побыть с вами, совсем недолго. Люди, которые так слышат музыку, мне интересны сами по себе. Потому что мой муж не простой музыкант, и вы это поняли. В благодарность я хочу вам погадать. Можно? – и она наклонила статную голову чуть набок, еще более пристально заглядывая в человека, как будто видела что-то за его спиной.

– Рискнем, Константин Алексеевич? – Вальтер улыбнулся и, видимо, преодолевая неловкость и трепет перед силой, исходящей от цыганки, протянул левую руку.

– Я не очень люблю гадать по руке, – ответила она. – Это немного попахивает привокзальным сквером. Я просто подержу в руках какую-нибудь вашу вещь и разложу карты. – Вальтер почти отдернул руку, как отдергивают от горячего, достал из кармана портсигар, протянул цыганке. – А ваша вещь? – обратилась она к Косте.

Константин Алексеевич взял в руки свой, но почему-то не смог отдать сразу: приоткрыл, вновь закрыл, проверил, защелкнулся ли замочек. Цыганка, взяв его в руки, как-то поспешно положила на стол, даже чуть отодвинула от себя. Было очевидно, что она не обратила ни малейшего внимания ни на символику, ни на рисунки на крышках, для нее важно было что-то другое, какая-то энергия, исходившая от двух изящных вещиц, лежавших на столе под мягким светом абажура. Она накрыла ладонью портсигар со свастикой, погладила его. В руках появились карты, она неспешно перетасовала их, стала раскладывать на столе. В этот момент вновь зазвучала скрипка, совсем приглушенно, ненавязчиво, и время опять стало исчезать, мир сузился до круга, высвеченного маленьким абажуром, и в этом кругу были два портсигара, со звездой и со свастикой, с колосьями и рысаками, и неспешно ложились в своем порядке карты, вышедшие из колоды и подвластные какой-то нездешней логике. И страшно было смотреть, и нельзя было не смотреть, как будто в самом деле в кругу света, выхваченного из тьмы, творились и решались две судьбы и две жизни. Цыганка опять взяла портсигар Вальтера, сжала его в ладонях, протянула хозяину:

– Вы проживете долгую жизнь. Она будет не очень легкой, но в сравнении с тем, что всем нам предстоит, даже счастливой. Удача будет часто улыбаться. И не бойтесь смерти, по крайней мере, теперь. Вам будет семьдесят три года, когда вы умрете. Это будет очень не скоро – в тысяча девятьсот семьдесят третьем году.

Скрипка умолкла, опять вокруг столика раздвинулось пространство и появились очертания реальности: другие столики, барная стойка, эстрада. Офицер-пограничник, еще более раскрасневшийся и возбужденный, перегибаясь через стол, что-то говорил даме, держа двумя руками ее тонкую кисть и время от времени жарко целуя пальцы. Его спутница все так же прятала глаза, но по этому взгляду, опущенному вниз, можно было понять многое. Например

то, что вчерне она уже решила, как кончится вечер, и пограничник это прекрасно чувствовал. Цыганка неспешно собрала карты и встала, собираясь уходить.

– А мне вы решили не гадать? – спросил Константин Алексеевич.

– Я пробовала, но ничего не увидела, – ответила цыганка. – В следующий раз, – и она так же плавно и грациозно проследовала к эстраде и исчезла за черной ее шторой.

А Косте как-то сразу полегчало. Не видит – и не надо. Даже понимая, что смешнее цыганского гадания ничего нет, невольно доверяешься всей этой кофейной гуще. И зачем? К чему? Только душу засорять.

– Ну что ж, семьдесят три – не так уж мало, Вальтер. По нынешним-то временам и при нашей работе. Давайте поднимем еще по одной рюмочке коньяка и будем откланиваться – а то, не ровен час, до Берлина не доедем! – Константин Алексеевич нашел глазами хозяина и особым раскованным ресторанным жестом взметнул вверх руку. Тот подошел через минуту с маленькой сафьяновой папочкой, в которой лежал исписанный цифрами листок.

– Я прошу у вас прощения, господа, если что-то было не так, как мне и вам хотелось бы, – сказал Мойша. – Но вас, – обратился он к Вальтеру, – просит на два слова за кулисы большое очарование нашего маленького кафе. Она-таки не все вам про вас рассказала.

– Зайдите, Вальтер, все же интересно, что вы еще узнаете о предстоящих вам годах. Идите-идите, здесь расплачиваюсь я на правах хозяина! Ведь мы еще в СССР. А в Германии будет ваша очередь. О Польше не говорим – пока проедем, не успеем проголодаться.

– Спасибо, принимаю предложение. А цыганке, наверное, надо ручку позолотить. Мы ведь забыли о гонораре, – и Вальтер направился к эстраде.

– Спасибо, Мойша, за прием, за радушие, Бог даст, свидимся. Буду в Бресте – мимо тебя не пройду, – услышал Вальтер слова Кости, отодвигая тяжелую бархатную штору.

Цыганка стояла перед ним. Взгляд ее больше не казался тяжелым, но, скорее, растерянным или даже испуганным.

– Скажите своему другу, что ему нельзя ехать в Германию. Его ждет там смерть, притом очень скоро – всего через четыре дня. Через три на четвертый. Пусть лучше возвращается. Тогда он сможет прожить еще четыре года, пока его не арестуют а потом не расстреляют свои. Это очень мало, но все же четыре года лучше, чем четыре дня... У него очень плохая вещь! Тем, у кого она была раньше, тоже осталось всего четыре года. Я не смогла сказать это ему. И не захотела врать. Скажите ему! – и отвернулась.

Когда он опять вышел в зал, Костя был уже на улице, и Вальтер обрадовался этому. Те полминуты, что отделяли его от выхода – пройти через зал и подняться по каменной лестнице – давали возможность собраться с духом. Сказать? Не сказать? Как сказать? И можно ли к этому отнестись серьезно? Сам бы серьезно отнесся? К цыганке – нет!

– Ну что, пару годков вам накинули? – спросил Костя и взглянул на часы. – Надо поспешать, а то наши вещички без нас уедут.

– Костя, она говорила не о моих годах, а о ваших. Сказала, что нельзя вам ехать в Германию, что жить вам там меньше недели. Что нужно возвращаться, тогда еще четыре года проживете, до тридцать седьмого, стало быть. Прощаемся и сдаем ваш билет?

Константин Алексеевич расхохотался.

– Всю сумму обратно все равно не получить, придется в наркомате с бухгалтерией объясняться, а это уж – избави бог что такое. Нет уж, лучше поедем, а там будь что будет! – и действительно, прежней тревоги не было, ее как рукой сняло после разговора с цыганкой, когда они все втроем сидели за столиком. И теперь, при ярком свете дня, сама мысль о том, что к гаданиям цыганки можно отнестись серьезно, казалась просто смехотворной. – Пошли скорее к вокзалу! Бог даст, пронесет!

* * *

Немецкий перрон, длинный и чопорный, с тремя важными усатыми полицейскими, поочередно появлявшимися в окне купе, проплыл мимо и остановился, громыхнув напоследок всеми железными сцепками поезда. Было слышно, как паровоз удовлетворенно присвистнул на прощание, дескать, до встречи, когда соберетесь куда... Константин и Вальтер вышли из вагона последними, протянув проводнику несколько монеток.

– Меня должна ждать машина. Подвезти? – спросил Костя.

– Меня, напротив, ждут таможенные формальности. Нужно заполучить багаж, оформить доставку, в общем, часа полтора провожусь. Давайте-ка лучше встретимся вечерком, часов в восемь, в кафе, где-нибудь в центре, на Унтер ден Линден, да и обсудим кое-что.

У вокзала, у самой лестницы, стоял поджарый черный «Хорьх» с посольскими номерами, разъездная машина. Водитель, старый знакомый, взял чемодан, Костя протянул руку:

– Что, старина, не заели еще германцы? Как поживаете вы тут?

Пока водитель открывал багажник и укладывал чемодан, Константин Алексеевич подошел к газетному киоску. Он не смог отказать себе в старой привычке: приезжая в страну, покупать на вокзале газету. Вынув из кошелька несколько пфеннигов, оставшихся от прежней командировки, и переждав очередь из двух человек, основательного полного бюргера в пиджаке и жилетке и пожилой поджарой немки с длинным зонтиком, купил свежий номер «Ди Цайт» и с удовольствием сел на заднее сидение «Хорьха».

Константина Алексеевича почти не занимали его формальные обязанности, связанные с поставкой немецких станков. Здесь все было ясно, и для этого дела его присутствия в Германии, в сущности, не требовалось. Важнее были задачи, связанные с выяснением подлинных целей новой партии, пришедшей к власти, партии националистической и вовсе не скрывавшей цели движения на Восток. Конечно же, не только повлиять на эту политику, но хотя бы даже прояснить, насколько серьезна она и как далеко могут пойти немцы в своем стремлении к восточным пространствам, он не мог, и это была задача не его уровня. Его цель была уяснить кое-какие щекотливые вопросы: насколько новая политическая верхушка, представленная людьми не просто необразованными, но даже малограмотными, склонна к мистицизму. Неужели новая власть пойдет по оккультному пути, наполнит внешнеполитические цели мистическим смыслом, разумеется, тщательно это скрывая, но видя в столкновении внешних интересов европейских стран лишь перекрестья потусторонних векторов, лишь отражение иных, истинных миров, жертвенное приношение которым готовит Великая Германия?

С одной стороны, такое предположение казалось Константину Алексеевичу абсурдным. С другой стороны... С другой стороны, некоторые события его собственной жизни пестрели такими странными совпадениями, что не углядеть в них мистического смысла тоже казалось невозможным. Взять хотя бы Вальтера. Меньше недели назад познакомил Боря, который ни о чем подобном и думать бы не стал. И за эти дни друг другу доверились, друзьями, можно думать, стали. Открывался-то, конечно, главным делом Вальтер, Костя, в основном, молчал, пораженный откровенностью своего нового друга. Однако молчание тоже ведь много значит, особенно когда речь идет о сближении коммунизма и фашизма, Гитлера и Сталина, о Германии без национал-социализма и России без ВКП(б), пусть и через пятьдесят лет. Даже и за молчание в таких разговорах по головке в случае чего не поглядят. А вот ведь доверился, и как много узнал.

Что ж узнал-то? Ну, во первых, что с Ганусеном – не ложный след. Действительно, стал приближенным, действительно, что-то внушает, гипнотизирует, черт его знает, что делает. Во вторых, что подобраться к нему нельзя – никто не подпустит. Да и с чем подбираться? Будь хорошим, будь нашим? Или шантажировать? Но чем? Как? Да и как этот гипнотизер хренов

на это пойдет? В общем, пока чепуха какая-то, ничего не ясно. Вальтер говорил – убить... Да, в-третьих, Вальтер. Похоже, что он хочет того же, похоже, что можно с ним работать – никаких иных подоплек здесь не виделось. В общем, узнал-то, конечно, много, но слишком мало, чтобы хоть что-то конкретное вырисовалось...

Константин Алексеевич раскрыл газету, с наслаждением вдохнув запах типографской краски и свежей влажноватой бумаги. И на первой же странице – вот оно, уже начинается: «Арест советских корреспондентов»: «Арестован представитель ТАСС И. Беспалов и корреспондент «Известий» Л. Кайт, пытавшиеся нелегально въехать в Лейпциг с целью присутствовать на Лейпцигском процессе по делу о поджоге Рейхстага. В качестве ответной меры советская сторона объявила 26 сентября об отзыве своих корреспондентов из Германии и о высылке в трехдневный срок немецких журналистов из СССР». Да, всегда все большое начинается с таких вот мелочей и перепалок. Он свернул газету и увидел на последней полосе театральную афишу Берлина. В глаза бросалось объявление, напечатанное крупным и жирным шрифтом:

ГАСТРОЛИ ВОЛЬФА МЕССИНГА

Сегодня, 27 сентября, в семь часов вечера в варьете «Зимний сад» состоится ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ всемирно известного медиума, гипнотизера и иллюзиониста Вольфа Мессинга. В программе сеансы гипноза, чтение мыслей, предсказания будущего. Билеты в кассе варьете «Зимний сад».

* * *

Вальтер был одет совсем по-другому, видно было, что человек вернулся домой. На нем были светлые свободные вельветовые брюки американского кроя и объемная вязаная кофта на молнии, заменявшая пиджак. Он напоминал преуспевающего инженера или успешного дельца, отдохнувшего после рабочего дня и вышедшего во двор своего коттеджа, а не человека, идущего по центральной берлинской улице пусть и на дружескую, но все же деловую встречу. И только тут, увидев своего друга издали, Константин Алексеевич понял, что так сильно изменилось в Берлине за то время, что его не было здесь: люди на улицах. Ведь не было ни войны, ни разговоров о ней, а уличная толпа наполовину состояла из военных. Солдат почти не было, встречались офицеры старшие и младшие, в серой форме и черной, в фуражках с кокардой, изображавшей череп с двумя перекрещенными под ним костями. Военная форма входила в моду. Черные начищенные до зеркального блеска кожаные сапоги вытесняли модельные ботинки. Многие мужчины несли на рукаве левой руки выше локтя красную повязку со свастикой в белом кругу. Несмотря на теплый вечер у многих на руках были черные перчатки, порой их просто держали в руке, небрежно похлопывая при каждом шаге по бедру. При этом обхождение людей, их тон, доброжелательность и предупредительность не изменились – люди улыбались друг другу, уступали дорогу, рассыпались в извинениях, случайно задев локтем.

Идти в кафе, вновь сидеть за столиком и пить коньяк не хотелось – Константин Алексеевич предложил Вальтеру прогуляться под липами Унтер ден Линден.

– С удовольствием! – Ответил Вальтер. – Тем более, что нет большего одиночества, чем в толпе. Кроме того, как я сегодня выяснил, не все кафе безопасны. Вы знаете, мои коллеги стали чересчур любопытны, часто прилаживают такие маленькие микрофончики под столешницу; мы с вами разговариваем, предположим, о женщинах, а они слушают и опыта набираются. Мне как-то не очень хочется опытом делиться. А вам?

– Мне, пожалуй, тоже, – глубокомысленно изрек Константин Алексеевич. – Знаете, Вальтер, что я заметил в Берлине нового? Во-первых, военная форма очень идет немцам.

– Русским тоже, – парировал Вальтер, и Костя понял, сколь прав был его собеседник: Москва тоже постепенно начинала носить сапоги и галифе, а красные и голубые петлички с ромбиками стали привычной деталью людского потока на московских улицах. – А во-вторых?

– А во вторых, я замечаю какой-то умопомрачительный всплеск интереса к гипнозу и прочим формам черной магии. Не успел купить газету, а первое что бросается в глаза – гастроль какого-то Мессинга с психологическими опытами. Ганусен в высокую политику подался, но свято место пусто не бывает: на тебе, новый появился. Не обратили еще внимание на это событие культурной жизни Берлина?

– Афишу тоже видел, да. Вообще-то интересно посмотреть. – Вальтер вынул из брючного кармана часы на цепочке, открыл, взглянул на циферблат. – Может быть, попробуем заглянуть на психологические опыты, а? Времени еще сорок минут, ехать до «Зимнего сада» всего ничего. На трамвайчике двинемся, таксомотор брать – дурной вкус, отсюда только три остановки. Если билеты еще есть, то попадем.

– А если нету?

– Достанем! Так у вас принято теперь в России говорить?

* * *

Билеты были, доставать не пришлось, хотя зал был почти полон. И опять Константин Алексеевич обратил внимание на то, как изменились немцы. Изменилась, скорее, мода, но ведь и она отражала мироощущение людей, принявших ее. Среди мужчин лишь около половины были в штатском – в вечерних костюмах или в мягкой, свободной одежде, остальные – в форме, в кожаной черной португее, в сапогах, с обязательной свастикой на рукаве. Дамы стали одеваться заметно дороже: часто мелькали меха, в моду вошли дорогие колье на открытой шее. Показалось даже, что и фигуры женские изменились, подобрались, стройность и утонченность определяли женский стиль.

Привычной театральной сцены не было, в круглом зале под углом друг к другу стояли столики, между которыми бесшумно сновали официанты, а в центре возвышалось нечто вроде подиума. Там сидели пять музыкантов и настраивали инструменты. Начало концерта ознаменовалось тем, что свет лишь немного приглушили, шум в зале сразу стих. На подиуме появился импресарио.

– Дамы и господа! – начал он. – Сегодня в Берлине мы приветствуем всемирно знаменитого медиума, телепата, гипнотизера Вольфа Мессинга. Он прибыл к нам в ходе своего турне из Варшавы. Всего три концерта в Берлине, и вы пришли на первый, мои дамы и господа! Мы увидим психологические опыты – удивительные примеры чтения мыслей на расстоянии! И другие невероятные способности этого человека! Приветствуем! Ваши аплодисменты Вольфу Мессингу!

На подиум вышел небольшого роста средних лет весьма невзрачный человечек, в мешковатом черном костюме, в штиблетах, которые казались великоваты, ссутуленный, взволнованный. Во всей его маленькой фигурке чувствовалась какая-то обида и затравленность, как будто он ждал удара. Мессинг нервно и с недоверием смотрел на благополучных и довольных людей, сидящих в зале. Да и вообще, в его облике было нечто нервическое, как будто болевой порог у этого человека был слишком низок и боль могло доставить что угодно: резкий звук, яркий свет, слово, и он все время ждал очередного болезненного укола действительности. Он подошел к самому краю подиума, приложил пальцы правой руки к щеке, потом за ухо к голове, как будто там в кость было вмонтировано колесико радионастройки, и стал пристально вглядываться в людей, сидящих за столиками, как будто искал или знакомого, или очень важного для него человека, которого он не знает, но старается угадать среди сидящих. Во всем этом не было ничего наигранного – ни в нервичности, ни в ожидании боли, ни в поиске кого-то. Кон-

стантину Алексеевичу стало жаль его. Именно в этот момент их глаза встретились, показалось, что артист даже кивнул – и успокоился. Движения стали менее суетливы, рука опустилась вниз, как будто голова уже была настроена на нужную радиостанцию. Мессинг поклонился в разные стороны и как-то успокоено ушел за кулисы.

– Первый психологический опыт будет самым простым, господа! – воскликнул импресарио. – Вы видите этот цилиндр? Я пройду по залу и, прошу прощения, ограблю вас, мои дамы и господа! Я попрошу самых красивых женщин (а сегодня – он внимательно оглядел зал – красивы все!) снять свои драгоценности и положить в цилиндр! И мужчин: вы сдадите кольца, перстни, золотые и серебряные портсигары – я не уйду из зала, пока цилиндр не будет полон золота. А потом... А потом будет самое невероятное и фантастическое! Вольф Мессинг выйдет на сцену и раздаст драгоценности, при этом каждый получит именно свою вещь!

Зал загудел – с волнением, но одобрительно. Импресарио пошел между столиками, подходя то к одной даме, то к другой, прося снять колье или кольцо. Если кто-то отказывался, импресарио прикладывал руку к груди и с поклоном извинялся, шествовал к следующей жертве. Все это заняло довольно много времени, цилиндр был велик и наполнялся не так быстро. Наконец он поравнялся со столиком, где сидели друзья, взял со стола портсигар Константина Алексеевича – тот уже успел закурить – и, спросив взглядом разрешения, положил его в цилиндр – Косте оставалось лишь улыбнуться и не то разведя руки, не то вздымая их к небу, показать таким жестом полную покорность судьбе. Наконец импресарио вернулся на эстраду:

– Итак, господа, первый сегодня психологический опыт. Артист сделает то, что сейчас никто кроме него не может сделать – даже я не вспомню, чьи вещи я взял, и, конечно, вернуть все хозяевам не смогу. А Мессинг сможет! Ваши аплодисменты, мои дамы и господа! – и он театрально воздел вверх руки, взывая к магу и чародею, который не замедлил появиться из-за кулисы. Ярко вспыхнули люстры.

Мессинг взял в руку цилиндр – и чуть не уронил его, поддержав второй. Спустился в зал, поставил цилиндр на столик – и пришел в еще более нервическое состояние, чем был в первый раз: рука вновь оказалась прижата к голове и ерошила черные волосы за ухом, другую он то подносил к подбородку, то ко лбу, то нервно сжимал обе руки до хруста пальцев. Потом он вдруг запустил руку в цилиндр и достал едва ли не с самого дна красивейшее колье с тремя бриллиантами, сверкавшими в переливах яркого света. Он поднял это колье, посмотрел в зал с испугом затравленного зверя и вдруг рванулся к самому дальнему столику, остановился не добежав, резко изменил направление и оказался у соседнего столика, за которым сидела дама с солидным господином в синем в полоску костюме, по виду промышленником или банкиром.

– Это ваше... – произнес Мессинг на плохом немецком, и было не очень понятно, это вопрос, утверждение или просто мольба принять колье. Господин, сидящий рядом, ударил несколько раз в ладоши, обозначив аплодисменты, потом взял из рук Мессинга колье, встал, обошел столик и надел его на обнаженную шею своей спутницы. Зал аплодировал.

Так продолжалось около четверти часа. Мессинг метался между столиками, мчался к одному, затем резко менял направления раз, и два, и три, иногда повторял негромко: «Не мешайте мне! Не мешайте! Зачем вы мне мешаете?» и наконец подходил к восхищенному человеку, принимавшему из его рук свое украшение. При этом на сами вещи он практически не смотрел, казалось, даже не отличал, что было у него в руках – брошь, колье, женское колечко или мужской перстень, – было ясно, что ему важно не видеть вещь, а осязать. Но весь этот опыт давался огромным трудом: глаза были безумны, густые черные волосы слиплись и потускнели, с лица капал пот. После того, как он вернул золотые часы на цепочке немецкому офицеру в черной форме, в руке артиста оказался Костин портсигар. Пальцы нервно забарабанили по крышке, он ринулся в одну сторону, в другую, а потом подскочил к их столу и на секунду остановился в нерешительности, рука дернулась к Косте, потом замерла, рванулась к Вальтеру, чтобы отдать ему портсигар, потом опять к Косте, вновь замерла в воздухе... Это

длилось мгновение – Мессинг обернулся всем корпусом к Вальтеру и сказал: «Это ваша вещь! Это ваша вещь! Зачем вы мне мешаете? Я же вижу – ваша! Возьмите!». Невероятное напряжение, исходившее от артиста, передалось Константину Алексеичу, и он почувствовал, Вальтеру. Взглянув на друга, он поразился: лицо его было совершенно белым, глаза широко открылись, губы подрагивали, но в чертах помимо страха отражалась еще и железная воля, как будто бы ему предстояло принять из рук гипнотизера не изящную вещицу, а знак судьбы. Борьба длилась секунду, и все же воля победила. Глаза опустились вниз, на лицо вернулось обычное выражение любезности и дружелюбия. Вальтер с легким поклоном головы принял портсигар.

– Ошибся! Чуть-чуть ошибся! – шепотом сказал Костя. – Столик определил, а хозяина – нет. Но портить представление не будем, верно?

– Не знаю. Может, и не ошибся... – сказал Вальтер. Он встряхнул головой, как будто сбрасывал какое-то оцепенение, и уже весело произнес: – А знаете, Константин Алексеич, мой так мой! Давайте-ка в знак нашей дружбы обменяемся: ваш будет у меня, коли артист так распорядился, а мой – у вас? Все же не случайно мы с вами встретились, а? Дружить – так дружить, и табачок не будет врозь, так? – и он достал из брючного кармана свой портсигар, со свастикой и рысаками. – Утощаю напоследок из своего!

Номер кончился, Мессинг, усталый и раздавленный, скрылся за кулисой. Заиграли музыканты, зал наполнился шумом голосов, люди что-то громко обсуждали, разглядывали свои вещи, радостное возбуждение владело залом. Выпив вина, Константин Алексеич с удовольствием открыл портсигар Вальтера, закурил. Удивление тем, насколько Вальтер потрясен ошибкой Мессинга, стало уходить, да и Вальтер, казалось, напрочь забыл об этом. Вновь на подиуме появился импресарио.

– Господа! Следующий номер Вольфа Мессинга будет еще более интересен и невероятен! Сейчас на подиум выйдет любой из вас – любой! И напишет на этом листе бумаги, или на любом другом, свое приказание великому артисту. Этого никто не будет знать – только бумага! И я не буду знать, поскольку спущусь к вам в зал, а человек будет писать за столиком на подиуме – сейчас его установят, – поэтому никто не сможет прочитать приказанное нашему другу. И он не сможет, потому что бумагу я положу тотчас же себе в карман. А мы ее читаем только потом уже, когда Вольф Мессинг это приказание выполнит на наших глазах.

На подиум поднялась приглашенная им дама в бордовом вечернем платье с меховой накидкой на узких изящных плечиках. Жеманно присев на стул, она задумалась на минуту и что-то написала на листе, потом еще и еще. Импресарио принял из ее рук бумагу, не читая сложил, поворачиваясь лицом в разные стороны зала, и театрально утрируя жесты, опустил во внутренний карман пиджака и трижды ударил в ладони:

– Просим, маэстро!

Когда Мессинг выходил из зала, думалось, что он больше не сможет работать, что все силы исчерпаны. Но каждый раз, когда он вновь появлялся на подиуме, было понятно, что эти десять минут как раз и нужны были для полного восстановления. Он вбежал на эстраду, и в быстрых суетливых движениях опять виделась растерянность, но уже совсем иная, чем при первом появлении. Зал принял его, контакт был обретен, ушло ощущение того, что артист борется с желанием ссутулиться и вжать голову в плечи. Он встал у края подиума, как будто не знал, что делать дальше, и готовность сделать множество самых разнонаправленных движений сказывалась и в позе, и в фигуре: он впитывал в себя зал, пытаясь определить, кто будет его индуктором. Наконец он выделил даму, написавшую ему задание, и заметно успокоился. Он бросился с подиума в зал, подбежал к столику, попросил у сидящего наручные часы с дорогим браслетом из змеиной кожи, метнулся через зал к другому столику и положил часы там. Эти метания и движения показались Константину Алексеичу даже и утомительными: ничего принципиально нового по сравнению с раздачей драгоценностей не происходило.

– Неужели такой талант, я бы даже сказал, дар, тратится на всякие пустяки, на развлечение публики? Ведь это игра в фанты, в сущности. Сам-то он, интересно, понимает, что такое на самом деле его искусство? Какие возможности открываются перед теми, на кого он будет работать? Если будет...

– Не знаю, – Вальтер пожал плечами. – Просто, я думаю, у нас профессиональный взгляд на эти возможности. Поэтому, заметьте, нам с вами интереснее, чем кому-либо еще. Ну а потом... для него эти концерты – деньги, притом неплохие.

– Надо бы, чтобы он работал на нас, – про себя, как бы размышляя вслух, пробормотал Костя.

– Вот именно! На нас с вами! – поднимал Вальтер стакан вина на уровень глаз, предлагая Константину присоединиться. Делая ответный жест с бокалом вина, Костя, размышлял о том, что Вальтер судя по всему, очень хороший разведчик, что он ведет свою и весьма самостоятельную игру, и отнюдь не против СССР, и что он, Костя, нужен ему в этой игре не как средство, орудие, волшебный предмет, талисман, но именно как друг и союзник. И объяснение этому было довольно простым: в Вальтере ему виделся человек, желавший помешать тому же, чему и он хотел бы помешать – новой чудовищной исторической распри России и Германии; способствовать тому же, чему и он хотел: союзу СССР и Германии.

А Мессинг все метался по залу, и уследить за его перемещениями было практически невозможно. В какой-то момент, пробегая мимо, он бросил перед Константином Алексеевичем сафьяновую визитницу – вероятно, задание дамы в бордовом платье включало в себя и этот пункт. Рука механически взяла крохотную складную папочку, куда джентльмены укладывают полученные во время светских раутов визитные карточки, но в этот момент заиграл туш. Импресарио поднялся на подиум, достал из внутреннего кармана исписанный дамой листок, разогнул его и начал читать. Обнаружилось, что артист исполнил абсолютно точно все, что было записано на листке. При чтении все новых и новых пунктов, досконально исполненных, люди начинали хлопать в ладоши, подвыпивший офицер вскочил и закричал «Браво!». Это произвело невероятное общее возбуждение. Зал неистовствовал, почти все вскочили со своих мест. И видно было, что этот восторг придает Мессингу силы, он буквально черпал их из ликования зрителей: плечи распрямлялись, он становился как будто даже выше ростом.

Всеобщее ликование переросло на какое-то время в обычную ресторанный ситуацию, между столиками вновь засновали официанты с подносами. Люди, улыбаясь, вставляли разыскивать свои вещи, их новые владельцы раскланивались с прежним хозяевам, возвращая часы, запонки, драгоценности; артист, в первый раз поклонившись, убежал с подиума за кулисы. Константин Алексеевич рассеяно взял сафьяновую визитницу и оглядывал зал: он не заметил, чья это была вещь; хозяин тоже не подходил. Пока он в растерянности крутил визитницу в руках, из нее выпал ровный листок бумаги, действительно похожий на карточку. Костя механически взял его, чтобы положить обратно, и увидел, что это не карточка, там не было ни имени, ни адреса с телефоном. На ней было выведено по-русски печатными неумелыми буквами (видно, писавший почти не знал кириллицы, скорее, пытается правильно копировать незнакомые буквы): «ВАС ХОТЯТ УБИТЬ! УЕЗЖАЙТЕ! У ВАС ЕСТЬ ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ!»

– Почитайте, Вальтер! Оказывается, я удивительно популярен в Берлине: зайдешь случайно на концерт, а тебя уж знают, записочки несут! – сказал он, протягивая Вальтеру листочек и пытаясь за шуткой скрыть от самого себя гнетущее ощущение пустоты, какое, наверное, бывает, когда осознаешь провал. – Не наша ли брестская цыганка со своими предсказаниями вновь о себе напоминает? Опять тремя днями пугает. Или какая-нибудь новая, берлинская, на нашем горизонте объявилась?

Если задуматься, записка эта была шуткой очень даже неприятной. Конечно, никакие цыганские пророчества за ней не просматривались. Означала она, в сущности, только одно: слежку. Что вся идея с поставками сельхозмашин провалилась и, строго говоря, о ней можно

было забыть, что Костя, не успев приехать, остался без своего внешнеторгового прикрытия. Так что, смех-то смехом... На сцене вновь появился импресарио.

– А теперь, мои дамы и господа, кульминация нашего сегодняшнего представления: Вольф Мессинг и сеанс каталепсии!

На подиуме появился Мессинг, но это был уже совсем другой человек – ни нервозности, ни вслушивания каким-то десятым чувством в зал, он даже шел медленно, как будто с трудом, и был выше ростом и шире, сильнее. Он встал посередине подиума – оркестр заиграл какую-то мелкую дробь, – напрягся, вытянулся, задрожал от напряжения, как если бы на руках и плечах у него лежала невыносимая тяжесть... и вдруг одеревенел, стал неживым телом, превратился в деревянную куклу, в искусно выполненный манекен. Какое-то время он простоял не двигаясь, и вдруг на прямых ногах стал заваливаться навзничь, именно как кукла, в членах которой не было ни одного шарнира. Зал замер в ожидании грохота, который произведет падение манекена, только что бывшего человеком, несколько женщин ахнули, – и прямое тело действительно свалилось бы навзничь, если бы не два дюжих служителя в черных костюмах с атласными лацканами, выросших чуть ли не из земли, которые подхватили падающее тело и аккуратно положили его на пол – было очевидно, что оно совершенно одеревеневшее, жизнь изошла из него. Служители подняли на подиум два стула, поставили их напротив друг друга. Оркестр продолжал дробно играть. Под эту музыку служители с большим трудом подняли тело и положили его пятками на кончик одного стула, затылком – на другой стул – тело не прогнулось, оно не могло быть живым!

– Дамы и господа, это и есть каталепсия! – воскликнул ведущий. – Наш друг сейчас без сознания, и его тело не слушается его, но оно абсолютно утратило гибкость, оно невероятно твердое, тверже бетона и стали! И мы сейчас покажем и докажем это!

Он оглядел зал и пригласил на подиум самого крупного и полного господина в темно-синем полосатом костюме. Тот, не с первой попытки, преодолел высоту ступени.

– Сейчас мы попросим нашего гостя присесть посередине... прямо на живот Вольфу Мессингу!

Приглашенный хотел было отказаться и даже сделал попытку покинуть подиум, но умоляющие жесты импресарио удержали его. Он с опаской посмотрел на неподвижное тело, потом вновь на ведущего и уступил, пытаясь как можно легче сесть на указанное место. Поняв, что под ним нечто близкое по твердости к бетонному монолиту, он расположился уже посвободнее – видно, что неожиданный эксперимент увлек и его самого – потом даже поджал ноги... Тело не пошевелилось. Господин, сидя на нем уже в полный вес, потрясенно развел руками и остался на месте. Но на сей раз импресарио уже его поторапливал, мягко выпроваживая с подиума и поддерживая при этом под талию.

– Кто еще, мои дамы и господа?

Еще несколько человек, правда, менее тучных, решили последовать примеру первого, а номер закончился тем, что двое служителей сами уселись на неподвижно висящее между двумя стульями тело.

– А теперь – самый трудный момент номера: выход из состояния каталепсии! Мы попросим поднять нашего друга и привести его, так сказать, в вертикальное положение. Прошу вас! – служители тут же убрали стулья, недвижимое мертвое тело было поднято и поставлено на негнущиеся деревянные ноги. – Маэстро, музыка! Сейчас я постараюсь вернуть нашего друга к жизни, к нам, сюда, в этот мир! Это очень трудно! Если вы увидите судороги, припадки как при эпилепсии, не беспокойтесь – это жизнь возвращается в тело! – Повернувшись спиной к публике и глядя прямо в лицо Мессинга, импресарио трижды хлопнул в ладоши, каждый хлопок сопровождая счетом: «Раз! Два! Три!» – и отошел.

Какое-то время тело, поддерживаемое сзади служителями, не двигалось, потом резко дернулось, стремясь еще более выпрямиться, потом его стали сотрясать судороги, конвульсив-

ные движения как бы расслабляли члены, возвращая им подвижность, но стоять Мессинг еще не мог. Глаза открылись, но он явно не понимал, где он и перед кем. Судорога вновь прошла по всему телу, повторилось движение как бы распрямляющее и без того вытянутое в струнку тело, и артист встал на непослушные ноги, еще более вытягиваясь. Вдруг лицо исказила страшная гримаса, судорога повторялась вновь и вновь, он оттолкнул зрителей, пытавшихся его удержать, и стоя на неверных ногах, вытянув руки и чуть разведя их в стороны, сжав кулаки до костного хруста, вдруг попытался что-то сказать. Судорога лица отступила, оно было измучено нечеловеческим напряжением, которое не хотело уходить, глаза смотрели в одну точку и не видели ни зала, ни гостей. Казалось, что безумный взгляд устремлен куда-то за пределы зала, а может быть, и времени... Вдруг Мессинг замер – ноги расставлены, руки со сжатыми кулаками опущены вниз и чуть-чуть разведены, голова закинута – и из горла донесся уже не хрип, не стон, а внятные громкие слова, почти переходящие в крик, как будто кричал не он сам, а кто-то, живший в нем, помимо его воли, которой он сейчас не имел:

– Русские танки будут в Берлине! – и замер, обводя зал невидящими глазами.

Музыка стихла, за столиками воцарилась полная тишина. Мессинг мелко-мелко задрожал, потом судорога вновь прокатилась по телу, голова запрокинулась, вены на горле вздулись и из горла опять вырвался хриплый крик:

– Гитлер сломает шею на Востоке! Русские танки будут в Берлине! В Берлине! – и свалился, с грохотом рухнул без сознания на деревянные доски подиума.

Зал зашумел, многие повскакивали с мест. Во всеобщей суматохе Константин Алексеевич почему-то выделил неуклюжую длинную фигуру офицера в черной форме с двумя блестящими зигзагами в петличках, который беспомощно озирался, поправляя нарукавную повязку со свастикой. Двое служителей наконец пришли в себя и унесли безвольно обвисшее в их руках тело за кулисы.

Костя, потрясенный увиденным, еще раз вспомнил цыганку в Бресте, предрекшую то же самое. Неужели действительно можно узнать то, что будет через десять или двадцать лет? И неужели есть люди, наделенные этим страшным даром – знать наперед и предупреждать? И чем же платят они за этот дар? И ведь как дорого платят!

* * *

– С Ганусеном дела совсем плохи. Я, как вы понимаете, успел уже кое-с кем поговорить из своих друзей... В общем, он одержим идеей движения на Восток. Внушает Гитлеру, что это главная идея немцев, мистический смысл национального бытия, осуществить который призвано нынешнее поколение. В этом, дескать, и состоит не только историческая миссия Германии, но и ее онтологическая сущность. Миссия фашизма – в ее осуществлении, а жертвы не важны. В общем, что есть силы подводит оккультную базу под идею восточной войны. Сам, естественно, остается в тени. Так что вот такой он, наш Ганусен-Лаутензак. Мистицизм, чертовщина. Оказывается, его устами говорят даже души умерших. Во всяком случае, все эти фокусы очень по нраву рейхсканцелярии. Все-таки, конечно, малограмотность – большой порок.

– И Мессинг такой же, не знаете?

– Похоже, нет. И вот здесь-то нам с вами и можно построить кое-какую игру. Продумать пока не успел, но суть ее в том, что и у Гитлера, и у Сталина должно быть по своему Ганусену, который будет убеждать, что историческая миссия Германии – дружить с Россией, а России, то есть, простите, СССР, дружить с Германией. Тут нам с вами нужно будет хорошенько подумать, а?

– Сталин, по-моему, всюю готов дружить.

– Так-то оно, может, и так, да только военная разведка не всегда с этим согласна. Есть кое-какие факты, и прямые, и косвенные... В общем, военная машина СССР готовится к молниеносному прыжку на Запад – не сразу, конечно же, и не единственный это стратегический план, а так, один из многих... А на Западе-то как раз Германия. Не Польшу же станет Сталин воевать, а?

Они шли шурша листьями и наслаждаясь прохладой и уютом грустноватого сентябрьского вечера по тенистому берлинскому бульвару, который потихоньку вывел их на Бергманштрассе, на углу Цоссенерштрассе прошли мимо крытого рыночка, уже опустевшего в поздний час. Константин Алексеевич поймал себя на странной мысли: он сформулировал то, что неясно ощущал все последние дни – какую-то непостижимую, не от него зависящую внутреннюю связь своей судьбы с Вальтером. Он ощущал доверие к нему, мало того, понимал, что нет у него в Германии ни среди немцев, ни среди своих, русских, в посольстве или торгпредстве, человека столь же близкого. Ему казалось, что в Вальтере он встретил... себя самого, только не в русском, а в немецком варианте, как если бы он попал в зазеркалье, и зазеркальем таким была Германия.

Они остановились, присели на парковую скамейку, Вальтер отложил свою аристократическую щегольскую трость с тяжелым набалдашником в виде львиной головы. Косте не очень хотелось говорить, и молчание не угнетало, так могут молчать друг с другом близкие друзья. А Германия, подумалось, действительно становилась то ли кривым зеркалом России, то ли ее увеличительным стеклом. Берлин гротескно отражал Москву. Дома мы привыкли к гимнастеркам, к военной форме, к петличкам, к командирским ромбикам – здесь же это все отражалось и возводилось в степень красотой, броскостью, яркостью немецкой формы – черная кожа португалии, высоких сапог, перчаток, на рукавах черная свастика на красном фоне круга, символизирующего солнце. Сходство судьбы, общность судьбы.

Странное дело, но Константин Алексеевич поверил Мессингу. Представить себе, что этот человек выполнял чей-то заказ, было невозможно. Побывав на его концерте, каждый понял бы, что он вообще вне каких-либо политических игр, они его в принципе не могли интересовать. Да и видел Костя слишком хорошо чудовищные физические муки, который переживал этот человек во время того странного представления, развлекая публику диковинным своим даром. И самым страшным был, конечно, последний номер – эта его каталепсия. Наверное, за эти муки и давался дар провидения, когда настоящее время, эта скорлупка, которая не позволяет нам видеть ничего, иначе как здесь и теперь, крошится перед ним, и само время предстает... ну как местность, на которой ты различаешь дороги, или как карта, на которой вместо населенных пунктов обозначаются будущие события, нанесены меты жизни целых государств и просто людей. Да, не договорятся нынешние правители, и ни он, Костя, ни Вальтер, ничего не смогут противопоставить этому бесноватому уроду с черными усиками, орущему на площадях в скрытые трибуной микрофоны. Русские танки будут в Берлине... Наверное, будут, Костя почти физически ощущал правоту внезапного предсказания Мессинга, истинность провидческого экстаза, в котором он был, выкрикивая независимо от собственной воли это вовсе уж неуместное в Германии, примеряющей военную форму, пророчество. Но сколько этим танкам до Берлина катиться? И сколько из них по дороге сгорит? И въедут они в Берлин, или вльются на красных потоках русской и немецкой крови?

– Вальтер, вы поверили вчера Мессингу? Я имею в виду, конечно же, две его заключительные реплики? – нарушил молчание Костя.

– Нет, – коротко и резко ответил Вальтер. Помолчав, добавил: – Я не хочу и не могу в это верить, – и в его голосе слышалась какая-то обреченность. – Во всяком случае, я буду всеми силами этому противодействовать.

– А возможно ли? Помните, вы сами рассуждали при первой нашей встрече, что время – это пространство. Если так, то все уже есть, все распланировано, и изменить нельзя? Что если Мессинг видит время как пространство, и поэтому обладает даром предсказания?

– А не можем ли мы на этом пространстве выбирать разные пути? По крайней мере, я постараюсь это... проверить.

– Как? Мне тоже очень бы хотелось... проверить, как вы выражаетесь.

– Как, говорите? Я уверен, что и Третий Рейх, и СССР несут в себе некие мистические тайны, определяющие исторические миссии наших народов. Их вожди – тоже мистики, или же подвержены в высшей степени мистическому влиянию. Сейчас это влияние, оказываемое, по крайней мере, на Гитлера, насколько мы знаем, резко негативное. Следовательно, мы его нейтрализуем. Вы, наверное, догадываетесь, что у меня есть для этого кое-какие возможности? Скажу по секрету, все уже спланировано, так что наш с вами Ганусен-Лаутензак обречен. Вопрос нескольких дней.

– Я думал, вы в поезде шутили давеча. Убивать-то зачем? Убрать, отодвинуть... Да и вообще, может он тут ни при чем. Ведь все это, некоторым образом, умозрительность, наши с вами соображения, не больше...

– Но и не меньше. Да и согласитесь, Константин Алексеевич, что жизнь этого шарлатана в историческом контексте – совершенно незаметная, я бы даже сказал, ничтожная частность, которую мы с вами вряд ли можем учитывать, – и Вальтер улыбнулся так мило и мягко, как будто говорил о вчерашней газете, объясняя недотепа, почему он хочет ее выбросить, а не отвезти в публичную библиотеку, чтобы сдать в архив для подшивки.

– Если наш герой действительно обладает телепатическими возможностями, то ему не составит труда раскрыть ваш план и противодействовать ему. Насколько я понимаю, у него достаточно высокие покровители в рейхсканцелярии.

– Волков бояться – в лес не ходить! – расхохотался Вальтер. – Давайте уж решим, что это – мои дела. А ваши пусть будут связаны с Мессингом. Нельзя нам его упустить во всей этой мистической чертовщине.

– Тем более, что кто-то его пасет, и меня заодно. Помните записочку давешнюю, с предупреждением? Думаю, записочка эта к тому, что интерес к мистикам, телепатам, гипнотизерам и прочая и прочая не только мы с вами испытываем.

– Я бы сказал даже больше: вчера думал, что есть очевидная рациональная связь между нелепым брестским предсказанием и запиской. Уж больно все сходится у цыганки и вашего неизвестного корреспондента. Но позвольте предположить... вдруг сия связь существует не на уровне агентурной игры, что нам проще понять, а на другом, мистически предопределенном? Что если действительно звезды через три дня как-нибудь не так сойдутся? Может быть, вам действительно стоит откланяться? Право, не считите меня мракобесом, но несколько жутковато становится... Да и в самом деле, может быть, вам интереснее было бы побыть пока дома? Вы не находите странным, что Мессинг пока не при дворе – ни при советском, ни при немецком. Так что берите его под белые руки да везите к себе на Восток, в Москву, да прямо к Сталину. После вчерашнего, думаю, его хорошо примут. Газеты сегодня смотрели? Все желтая пресса только и пишет о русских танках в Берлине. Официальная-то, конечно, нет. Но гастролы прервали, знаете?

Они не сговариваясь встали со скамейки и вновь пошли по бульвару – один похлопывая по ноге мягкими кожаными перчатками, другой слегка поигрывая тростью.

– Вальтер, а вы тогда... В первый день нашего знакомства, во время обеда на Палихе... помните? Потом вернулись к Анне?

– Нет, конечно. Она же нравится вам. Вот вы и вернетесь как-нибудь, вечерком, к ночи поближе, – улыбнулся Вальтер. – Привет передайте, пожалуйста.

* * *

Константин Алексеевич прекрасно понимал, что его миссия, его интерес к Ганусену, а отнюдь не к немецким поставкам тяжелого машиностроения, не остались незамеченными заинтересованными лицами в соответствующих германских службах. Были тому свидетельства, косвенные и прямые, кроме записочки были. Даже при том, что никаких путей к Ганусену в рейхсканцелярию он не искал, целиком доверившись Вальтеру, казалось, что там его ждут – и ждут весьма недоброжелательно. Интерес к скромной фигуре Константина Алексеевича был самый что ни на есть вызывающий. То к нему, идущему по тротуару, подъезжал вытянутый акулообразный черный «Хорьх» с гестаповскими номерами и бесцеремонно ехал рядом, то по пути с сельскохозяйственной выставки за ним увязывались двое невзрачных ступачей в дешевых драповых пальто с поднятыми как у русских урок воротниками и шли на расстоянии пятидесяти метров. В сущности, это не беспокоило, но напрочь лишало возможности заниматься подлинным делом. Действительно мог представлять интерес для Кости именно Мессинг, но в сложившихся условиях искать к нему хоть какие-то пути было просто невозможно. Да и помимо всего прочего, ходили слухи, что он срочно выехал из Германии после единственного своего выступления. В общем, надо было собираться, может быть, в Варшаву, чтобы пытаться как-то понять, что за личность этот Мессинг. Более неудачной командировки трудно было припомнить. Завершив за два дня все формальности по немецким поставкам, Константин Алексеевич заказал на завтра билет в Москву в посольской кассе и позвонил Вальтеру – попрощаться. И все же решили еще разок свидеться и посидеть напоследок – просто выпить немного пива. Договорились вечером встретиться напротив здания городского суда. Ресторанчик назывался смешно – «У последней инстанции», что намекало на окончательность судебных решений, которые принимались в здании напротив, и обратившиеся к юстиции могли здесь их либо отпраздновать, либо залить горе шнапсом.

Вечер получился грустный, пиво не веселило, и даже классическая берлинская печенка с луком и яблоками и гороховым пюре на гарнир была не в радость. Вальтер одобрял отъезд, понимал его причины, но думал, казалось, о чем-то своем. Наконец заговорил о том, что действительно волновало обоих:

– С нашим записным мистиком рейхсканцелярским вопрос, кажется, решен – не сегодня-завтра... Но вот что меня немного волнует: я вообще не встретил никакого противодействия. Согласитесь, не так просто все организовать, когда этот шут гороховый приписан к самому фюреру... И машина контрразведки там работает, будьте уверены, но идет по какому-то совершенно непонятному мне пути. Ищут не меня, а кого-то другого, и вроде бы из Красной России. Серьезно ищут... Чувствуют, что затевается вокруг Ганусена кое-какое дело, а понять не могут, что затевается и откуда идет. Похоже, думают, будто мою сеть вокруг него сплели там, в СССР, и ищут русского. Найти, конечно, не смогут, потому что никто из Красной России этим не занимается, уж мы-то с вами знаем: Ганусен не ваш, как договаривались... И все же, хорошо, что вы завтра утречком отбываете. Мало ли что? А береженого Бог бережет! Верно?

Сколько сортов пива предлагали в ресторане, сосчитать было практически невозможно: было пиво темное и светлое, красное и медовое, мутное и прозрачное, крепкое и не очень. Костя заказывал «Эдельвейс», светлое нефилтрованное пенистое пиво с чуть кисловатым привкусом, ложащимся на исконную пивную горечь. Он сидел перед Вальтером, смотрел в его невеселое лицо, лицо человека, уверенного в своей правоте и все же чувствующего, что где-то есть ошибка. Костя понимал, что видятся они в последний раз, по крайней мере в этот его приезд в Берлин, когда еще доведется встретиться, было не очень понятно, но уверенность в том, что свидание не последнее, крепла с каждой минутой, с каждым словом – как будто что-

то неведомое открывалось, и удавалось заглянуть в то самое пространство времени, о котором столько они размышляли.

Пиво брало свое – Костя встал из-за стола, показав жестом в ту сторону, где было соответствующее заведение, – Вальтер понимающее кивнул – сделал несколько шагов, маневрируя между столиками, увидел пузатого бургера, вышедшего из двери с надписью «Herten», открывающуюся в обе стороны, при этом пружина так толкнула дверь, возвращая ее в исходное положение, что чувствительно ударила господина в сильно выпирающую ниже спины часть тела. Взгляд упал на даму в узком атласном платье и меховой горжетке, встающую с полупоклоном из-за соседнего столика, на человека в коротком драповом пальто с поднятым воротником, входящего с улицы и быстрым шагом направляющегося прямо к нему. Чтобы не столкнуться, Константин Алексеевич отступил в сторону, сунул руку в карман брюк, достал портсигар и хотел было уже открыть, когда вошедший поравнялся с ним. Он явно спешил, глаза его были сужены, чисто выбритый подбородок напряжен, зубы стиснуты, узких бескровных губ почти не видно. Лицо было какое-то удивительно неброское, незаметное, как будто лица-то и не было. Он даже чуть приостановился около Константина Алексеевича и как будто хотел что-то спросить, но почему-то передумал, когда взгляд его скользнул по свастике на портсигаре, и быстро направился дальше. Костя достал папиросу и двинулся было за угол барной стойки, к той самой двери, что была так неучтивая с вышедшим из уборной толстяком, когда вдруг невинный вопрос, заданный по-русски, заставил его оглянуться: «Вы не скажете, который час?». Спешивший человек в драповом пальто, руки в карманах, ноги расставлены на ширину плеч, стоял перед их столиком и ждал ответа от Вальтера. Вальтер глядел на него с удивлением и как бы оценивающе, но не отвечал.

– Я должен встретиться здесь со своим другом. С русским другом. Вы не видели его? – спросил вошедший, и Костя понял, что немец плохо знает русский – сильный акцент, с трудом строит фразу, – и в ту же самую секунду ему больше всего на свете захотелось, чтобы Вальтер не ответил, не произнес ни слова, а все так же смотрел изучающее на убийцу, потому что этот бандит с эсесовским значком на обратной стороне лацкана пальто пришел убить его, Константина, русского дипломата и разведчика, и ему нужно подтверждение, что перед ним русский, хотя бы одно слово, «да», или «нет», «может быть», «не знаю». Но он ошибся, перед ним Вальтер, и чтобы исправить эту ошибку, есть полсекунды или несколько секунд – будет зависеть, скажет ли что-нибудь Вальтер, ответит ли, а ему, Косте, за это время нужно прыжком или двумя прыжками преодолеть метров семь до столика и сбить убийцу на пол, и сила для этого рывка и для сильного удара по затылку уже есть.

– Я не понимаю вас, – ответил Вальтер по-немецки, и Костя увидел со спины, как вся поза вошедшего какими-то неуловимыми признаками – разворотом плеч, наклоном головы – обозначила растерянность и недоверие. В руках у Вальтера сверкнул портсигар, и Костя понял, что время для прыжка уже пришло, потому что свастика на крышке только что спасла его, а звезда на том, что был теперь у Вальтера, может погубить его друга... Он думал об этом, уже оттолкнувшись от пола, уже прикидывая, как сделает следующий шаг и куда ударит – даже не в затылок, а в шею, выбивая верхний позвонок, и что, пожалуй, он успеет, потому что пистолет – что у него там? «Браунинг», наверное? – еще нужно вынуть из кармана, а это даст как раз время для второго, последнего, прыжка. И вдруг совсем тихо раздался выстрел, его даже и не услышал никто, и тут же еще один: убийца стрелял прямо из кармана, не доставая пистолета – и для скорости, и для маскировки, и чтобы погасить звук. Третий выстрел получился в стол, звонко громыхнула посуда, а четвертого уже не было: стрелявший, сразу ставший маленьким и даже жалким, в неестественной позе, руки так и остались в карманах, лежал ничком на ковровой дорожке и как-то истерически, резкими короткими всхлипами втягивал в себя воздух, содрогаясь всем телом, и полный вздох получался за три-четыре таких всхлипа, а из носа и изо рта, тоже пульсируя, выливалась кровь, которой удивленно захлебывался в агонии пришедший

убить его, Константина Алексеевича Грачева, перепутавший и убивший Вальтера Фон Штайна, но совершенно не собиравшийся умирать сам. Отвалившийся при падении эсесовский значок блестел двумя змейками на красном полотне ковровой дорожки.

А Вальтер так и сидел за столом, почти в той же позе, что оставил его минуту назад Константин Алексеевич, только голова была откинута назад, а на пиджаке, прямо над вырезом нагрудного кармана, виднелись два небольших черных пятнышка, вокруг которых понемногу растекалась кровь по светло-серой фланели.

Костя не чувствовал ни ужаса и отчаяния утраты, ни напряжения от предстоящих выяснений с полицией, ни страха от дохнувшей льдом прошедшей рядом смерти. Его смерти. Все существо занимала боль в кисти правой руки, которой он и бил. Руку пришлось поднять, чтобы рассмотреть ее. Кисть была какой-то странной новой формы и не двигалась, распухая чуть ли не на глазах. Константин Алексеевич понял, что сломал при ударе руку. Где-то на периферии сознания он испытал радость от того, что боль невыносима: иначе он просто не смог бы пережить другой боли, той, что Вальтера больше нет. И еще мысли, которая еле слышным звоночком вошла впервые в его сознание, чтобы поселиться там до конца жизни: что он каким-то непостижимым образом виновен в его смерти. И что они поменялись судьбами.

Прежде чем присесть, вернее рухнуть на свое место, напротив Вальтера, он незаметно отбросил ногой подальше, за соседние столики, значок со змейками.

* * *

Хватало ведь на все выносливости, храбрости, выдержки. Приехала полиция, пытались надеть наручники, он потребовал консула и врача. Потом потерял сознание от боли. Тут, наверное, и немцы перепугались – странное дело, убийство, русский, по документам не то дипломат, не то из торгпредства. Консул привез врача, он констатировал множественные переломы кисти и запястья; шприцы, уколы, запахи медицинские, шины наложили – ничего уже не чувствовал, боль ушла и осталось пустота. Все равно было – в посольство или в полицейский участок. От ареста спасло то, что убийца не сразу умер, говорили потом, до утра так и хлюпал носом, его еще живым на больничной карете увезли и не поняли, что этот герой – из гестапо. Консул выдвинул версию: убийство немецкого бизнесмена, мотив – конкуренция. Отпустили, дали консулу увезти в посольство, спас диппаспорт: убийство стрелявшего на тот момент не было зафиксировано, действия советского сотрудника – необходимая оборона. Как его следующим утром грузили на поезд, он так и не помнил никогда. Или сейчас забыл?

Пора было опять искать силы встать со скамейки и готовиться к следующему отрезку пути. Нет, пока не в метро, не домой. Как будто идеи сегодняшней поездки все надстраивались и надстраивались над той конструкцией, которую он запланировал и выпестовал дома. Как будто место это, Миусы его родные подсказывали все новые и новые направления. Эх, кабы только силенок побольше...

Хотелось подойти к Белорусскому вокзалу. К Брестскому. Войти в зал ожидания, посмотреть на мрамор внутренней отделки на полу, на стенах – ведь он все тот же, на века строили. И не так уж далеко: перейти по светофору площадь, спуститься мимо Тверского путепровода, и вот он, вокзал, рукой подать!

Когда вставал, с трудом, на палку опираясь, перехватил взгляд волосатого парня, удивленный и сочувствующий. Долго не горел зеленый свет, а когда включился, старик понял, что перейти дорогу трудно, надо почти бежать: желтый застал его прямо посередине, машины, поворачивающие с Тверской на площадь перед Белорусским вокзалом, нетерпеливо зарычали моторами, зазвенели шестернями коробок передач. Что ж, разве что остановиться посередине, авось объедут. Но встать не удалось – почувствовал сильную руку, на которую можно опереться.

– Давай, дедуля, поднажмем! Вспомни, как в атаку бегал! Давай, давай, ать-два! – опять патлатый парень появился рядом с ним, сжав левой рукой локоть, правой обхватив талию. При такой поддержке, почувствовал старик, дорогу он легко и на желтый успеет перейти. И увидев, что старик не один, а обрел внезапно весьма уверенного союзника в деле пересечения проезжей части, машины, явно отступая перед силой и авторитетом волосатого спутника, перестали угрожающе рычать, а первый грузовик даже деликатно цокнул шестерней – дескать, возвращаюсь на нейтральную, на желтый не поеду, дождусь, в конце концов, зеленого, да, в общем, и на зеленый готов подождать, идите уж, чего там!

– Ну, папашка, бывай! Не хвораи! – волосатый почти внес старика на тротуар, поставил под светофор, приветливо улыбаясь, похлопал его двумя руками, зачем-то отряхнул рукава пальто. – Давай, дед, гуляй дальше, не тормози! – и исчез, только девушка, в руках у которой оказался черный ящик магнитофона, приветливо махнула рукой и умчалась за волосатым.

С этого вокзала он уезжал тогда, сюда же вернулся с переломанной рукой. Да и сколько раз отсюда уезжал, сюда же приезжал. Но никогда вокзал не был так далеко от площади, как теперь. Вот ведь как: к старости пространство увеличивается, а время уменьшается.

А Ганусена застрелили не то два, не то три дня спустя. Узнал об этом уже в Москве. Начальники решили, что это его работа, все допытывались: нельзя ли было затеять с ним игру, перевербовать? А как? Ну никак нельзя было, не получилось! Скажите спасибо, что Мессинг в итоге у нас оказался, пусть и позже, чем хотелось бы, только в тридцать девятом. И то лучше, чем никогда! Это, думаете, было просто? Сколько с ним тогда работал в Варшаве! А с Ганусеном потом подробности узнал, да и то, какие там подробности: вывезли хитростью в лес да и застрелили. Вальтера уже не было в живых, а интрига, им пущенная, все крутилась и крутилась, пока план его не исполнился. Потом еще узнал из разных источников и сопоставил: чревоушателя этого ухлопали в тот же день, когда Вальтера хоронили – тоже ведь совпадение...

Старик почти не мог идти, спуск под горку мимо путепровода занял минут десять, а то и больше: останавливался, отдыхал, опираясь на палку, и все же шел, как будто войти в здание вокзала было жизненно необходимо. Мысль о метро, спуститься куда тоже было бы тяжело, но это все же был путь домой, к отдыху, не приходила в голову. Да и зачем ему отдых? Для чего? Чтобы полегче проскрипеть еще неделю или месяц? Или два?

Собирать по минуткам, по дням оставшуюся жизнь казалось теперь крохоборством. Да его ли была эта жизнь? Ему ли принадлежала? Ведь те две пули, что достались Вальтеру, были его пулями, и если бы не чистый случай, не немецкий портсигар со свастикой, мелькнувший в его руке, не звезда на том, его портсигаре, у Вальтера, все сложилось бы по-другому. Бог весть как! И вот теперь эти семьдесят три года кончились... Кончатся... Те семьдесят три года, которые были предназначены другому, но которые прожил он, приняв такой подарок от почти незнакомого человека, которого потом ему не хватало всю жизнь. И сейчас не хватает. Интересно, каким бы он был в старости? Таким же длинным и тощим, как сам старик, или, напротив, ухоженным бургером с солидным пивным животом? Ходил бы по воскресеньям в кирху, по вторникам и четвергам – в какой-нибудь стариковский клуб, по субботам ездил бы к детям посмотреть на внуков. Но образ никак не складывался, не совпадал с прототипом. Не мог Вальтер постареть! Даже в воображении не старел.

Закурить бы. Он нашупал в кармане портсигар, достал его, хотел открыть, но не смог: слабый толчок в сердце заставил вздрогнуть, как будто нечто радостное и желанное, что и представить себе нельзя, ждет его на вокзале. Нет, не курить, скорее туда, все силы собрать, и туда! Неизведанное, тайное, как в детстве, когда ждешь чего-то обещанного, но еще мал, надо подрасти чуть-чуть, и вот подрос! Постучалось в сердце, дало восточку! Закуривать не стал, сунул папиросы в карман, даже силы прибавились, чтобы идти, и с каждым шагом появлялась, росла уверенность, что в зале вокзала, в суете приезжающих, уезжающих, встречающих, носильщиков, карманных воров, карточных шулеров, нищих, тайком протягивающих руку,

чтобы не заметила милиция, ему откроется что-то, ради чего и стоило влачиться эти семьдесят три года, что-то, что станет итогом жизни и придаст ей окончательный смысл и завершенность и ответит на все вопросы. Он уже был у двери центрального зала, взялся за массивную деревянную ручку, чтобы ее открыть, когда понял, что влечет его и заставляет изнемогшее сердце трепыхаться от радостного ожидания: смерть! Это она зовет его, и этот зов не страшит, как раньше, но радуется, и представить, что этой радости нет, что она исчезла так же внезапно, как и появилась, было очень страшно.

Вокзал был другой, совсем другой, чем тогда: больше людей, они одеты намного проще, и вообще напрочь утратился дух престижности и какого-то аристократизма, который был тогда, когда еще редко летали на самолете, а поезда в Берлин ходили самого высшего класса. Не было чемоданов или саквояжей из кожи, выделанной под крокодила или слона, а были все больше брезентовые рюкзаки, парни с гитарами, девчонки в брюках защитного цвета, а то и в новомодных потертых до белизны джинсах.

Но зал был тот же! Ничего не изменилось, может быть, только света стало поменьше. Тот же мраморный пол, да и стены, и весь зал отделаны мрамором. Мраморные скамейки. Кажется, на одной из них он тогда что-то забыл, ну конечно, неказистую сумку с теплым бельем и какие-то продукты в дорогу. Мать с сестричкой собрали, зная, что Боря будет провожать, с ним передали. Надо подойти, забрать, только палка мешает. Константин Алексеевич пересек зал, лавируя между встречными, и подошел к скамейке, на которой стояла забытая сумка. Не украли. Не бог весть что, конечно, но все же приятно, да и в дороге пригодится. Он поправил галстук в синий горошек, присел на скамейку рядом с сумкой, заложил ногу на ногу, придирчиво проверяя, хорошо ли начищены черные ботинки. Куда-то Боря отошел, наверное, лимонада купить. Вот чудак: странная ассоциация у него всегда, если вокзал, надо пить лимонад. Он огляделся по сторонам, желая найти глазами брата, но того не было поблизости, а какие-то странно одетые люди, мужчины и девушки в синих штанах, поставив огромные заплечные мешки рядом со скамейкой, со страхом смотрят на него, одна из них, вроде постарше, зачем-то взяла руку у запястья и сильно сжимает. Пульс что ли ищет? И что так уж сильно заволновались девчонки перед его лавочкой? Зачем расстегивать воротник, галстук развязывать ему? Не надо, ему же ехать сейчас, на поезд садиться, вот только Боря...

И вдруг он понял: какая сумка может стоять рядом с ним? Она была забыта сорок лет назад, истлела, и все ее содержимое в прах превратилось! Лимонад? Боря? Боря расстрелян в тридцать седьмом! Кого он может ждать на вокзале и глазами искать сейчас, в семьдесят третьем? Абсурд! И вдруг блестящая догадка осенила его. Боясь ее проверить, боясь ошибиться в ней, он замер, но все же медленно повернул голову и посмотрел рядом с собой на скамейку – его сумка, забытая тогда, стояла рядом с ним! В это нельзя было поверить: ведь он прекрасно помнил, кто он, какой год на дворе, сколько лет прошло – голова работала невероятно чисто, не надо было ничего припоминать, все высвечивала память, и ум говорил, что это невозможно, и страх увериться, что это невозможно, был невыносим! Он опустил голову и увидел, что никакого пальто не было, хотя помнил, что утром надевал именно его – на нем был серый костюм легкой, почти атласной шерсти, тот самый, в котором он уезжал в Берлин, черные ботинки. Рядом с забытой сумкой стоял его кожаный чемодан. Видеть все это было не просто наслаждением, от которого проходила дрожь, но – невероятной радостью, которая заполняла все существо, и он никогда не знал, что может испытывать такую радость, что она вообще-то возможна! Он встал, вздохнул во всю грудь, даже потянулся, и с удивлением вспомнил, как трудно ему было идти несколько минут назад. Он сделал несколько шагов, отошел от скамейки, вернулся, вновь сел, встал, пытаясь понять, что трудного может быть в ходьбе, в движении, почему ему нужно была палка, которую он сейчас так легко, почти не заметив, оставил у входа.

Константин Алексеевич догадался, что он либо умирает, либо уже умер, но одновременно он понял, что такое смерть, и это открытие было столь же очевидно, как и радостно:

смерть – это выход из скорлупы настоящего, из плена времени, и переход в его пространство, когда можешь выбрать свое подлинное время, а не тащиться вместе с настоящим, как в дребезжащем трамвае, когда сойти не можешь. Оказалось, что умереть – это вовсе не перестать существовать, но вернуться в свое время, когда ты любишь и любим, когда ты нужен и тебе нужны, когда есть дом, где тебе рады и тебя ждут. Почему же ты так страшился этого? Что может быть лучше? Он боялся одного только: растерять ту радость, которая открылась ему сейчас.

Наверное, прибыл поезд, потому что от перрона через зал на выход в город двинулись люди – появился толстый немецкий бюргер в жилетке и с длинным зонтом, перед ним носильщик с бляхой на груди вез на тележке огромные чемоданы и баулы. В толпе взгляд выделил семейство немцев средних лет, их бонну и двух девочек, белокурых и кудрявых, с хвостиками сзади, в длинных платьицах. За ними показались двое советских старших офицеров с ромбами в малиновых и голубых петлицах, солдаты тащили их чемоданы. И тогда Константин Алексеевич понял, что он никуда не уезжает, а наверное, встречает кого-то, и тут же увидел Борю, который шел к нему с двумя бутылками лимонада и с картонными стаканчиками, надетыми на горлышки. Он поднялся навстречу брату, тот неловко засуетился с бутылками, поставил их на скамейку, когда освободились руки, обнял крепко Костю:

– Ну, наконец-то! Как долго ты странствовал! Как же далеко заехал!

Обессиленный счастьем, переполненный радостью, Костя присел на скамейку. Он все смотрел и смотрел на толпу, валящую из дверей, со стороны путей и перрона, и держал брата за руку, все еще не веря и боясь отпустить, а Борис попивал лимонад из картонного стаканчика и глядел туда же. Толпа стала редеть, вероятно, люди с поезда уже в основном сошли, когда дверь в очередной раз открылась и с перрона появился Вальтер, как всегда безукоризненно одетый, приостановился, поставил на мраморный пол свой желтый саквояж, достал из кармана серебряный портсигар с выгравированной в самом центре звездой, закурил, оглядел зал ожидания, заметил Костю и Борю, приветливо помахал рукой и направился к ним.

Утро красит нежным светом... (1937)

Миусская площадь

«Утро красит нежным светом...
Стены древнего кремля...

Мам, а молоко к кофе есть?.. Что ж он не вяжется-то, проклятый? Ведь самый простой узел... Опять развязывать...

Просыпается с рассветом...
Вся советская страна...»

Это были первые слова, которые утром услышала Тоня. Она вспомнила: сегодня суббота, 1 мая 1937 года, сегодня праздник, когда трудящиеся всей земли празднуют свое освобождение и солидарность друг с другом! И даже весеннее солнце знало, что праздник – оно весело проникало сквозь занавеску в комнату, било игриво в глаза, освещало столешник на окне, край стены за книжной полкой, озорно блестело на белой крашеной двери, ведущей в большую комнату, откуда и доносилось рассеянное пение:

– Холодок бежит за ворот...
Что-то такое... та-та-та...
Здравствуй, здравствуй, милый город,
Сердце родины моей...

По тембру голоса, по особой распевной интонации, по ленивой утренней рассеянности, слышимой в припоминаемых словах песни, Тоня поняла, что на сердце у старшего брата легко, что свет, солнце, утренний холодок, который бежит за ворот, – все это им тоже переживается, как и ей, в первую минуту утреннего пробуждения. И это значит, что они пойдут гулять с любимым братом Борей, он уже и галстук надевает, сначала на демонстрацию, а потом сядут на троллейбус маршрута «А», поедут по Садовому Кольцу в Парк культуры и отдыха имени М. Горького, и Боря не будет как всегда в последнее время задумчивым и хмурым, не будет притворяться, что слушает, и отвечать вежливо и невпопад на ее вопросы. Так много хорошего обещал сегодняшний день, что... вставать даже не хотелось! Она так и представляла, как Боря стоит рядом с темным резным сервантом и перед овальным зеркалом в темной деревянной раме, висящем на стене, завязывает галстук, и минуту сладкого ожидания, когда мама войдет в большую комнату с заваренным кофейником-гейзером, Боря потрет руки и шумно вздохнет в предвкушении завтрака, а на столе уже принесенные мамой из соседней булочной белые чуть даже теплые булки и масло в масленке, и молоко в молочнике. А потом дверь приоткроется и мама войдет в комнату, присядет на краешек кровати, положит руку на голову, приласкает, позовет завтракать... И не надо идти в школу, и поэтому удалось выспаться, а потом прогулка с братом, как и договорились уже целую неделю назад!

Дверь открылась: гладко зачесанные темные волосы с красивой проседью, мамино правильное лицо, тонкие губы, такие же, как и у Бори, и у Кости, любимые черты.

– Вставай! Доброе утро, соня-засоня! Завтракать! – и как мечталось, присела на кровать, поцеловала, обняла, еще сонную, еще с остатками дремы.

...Борис уже сидел за столом – красивый, тридцатипятилетний, с завязанным наконец-таки коричневым в полоску галстуком, изящно схватившем воротничок шелковистой серой рубашки, волосы, коротко остриженные по моде, еще влажные после ванны, уложенные назад:

– Доброе утро, сестренка! Кофе с молоком? С сахаром? Или, может, чайку?

Голос брата был приветливым и ровным, и Тоня поняла, что сегодня, по крайней мере, пока, никаких мрачных мыслей у Бори нет, и он тут, с ними, а не так, как бывает: как будто здесь, рядом, за руку можно взять, пожать, а на самом деле где-то еще, в других каких-то пространствах. Сегодня мой! Наш с мамой! Не отдам! И как будто почувствовав восторг сестры, совпадая с ним, резонируя, Борис отодвинулся от стола и широко расставил руки для объятия: ну, доброе утро!

Тоне было тринадцать лет, и она была самая младшая у мамы: ее братья родились в первое десятилетие века, они были едва ли не погодки, а она – почти на двадцать лет позже. Поэтому два старших брата, Боря и Костя, были для нее чем-то вроде семи богатырей для царевны – сильные, добрые и надежные, только времени у них совсем не было, и лишь воскресные дни давали какую-то надежду, как, скажем, сегодня.

Она не знала, почему утро такое счастливое. Радовало все: высокий кофейник из нержавеющей стали с длинным изогнутым носиком и гейзером внутри; знакомое всю жизнь большое белое блюдо с переплетающейся розовой и голубой каемочкой по краям и букетом полевых цветов в центре, остаток дореволюционного кузнецовского сервиза, на котором лежали еще теплые булки-рогаляки; странный предмет того же сервиза, масленка, представляющая собой единство блюда с маленькими цветочками по краям и низенькой широкой чашечки, который пододвинул к себе Боря и орудовал там ножом; терпкий запах кофе; его цвет в чашке, когда заливаешь теплым молоком из фарфорового розового в белый мелкий цветочек молочника... Детское счастливое умение увидеть прекрасное в обыденном она еще сохранила с свои тринадцать лет, а кто-то умудряется сохранять и всю жизнь.

Вообще-то настроение у Бори сегодня должно быть нормальное: праздник, демонстрация, потом Парк Культуры. Не надо только вспоминать о работе и о любви. Своим невзрослым умом Тоня старалась осмыслить, что же случилось с братом за последний год. Как из веселого, любящего, жизнерадостного человека он сумел превратиться, в общем-то, в замкнутого буку, который что-то все перебирал и перебирал у себя в голове, и никак не мог остановиться, и не замечал больше никого и ничего, весь белый свет не замечал.

Ну, с работой ясно. Все началось где-то с конца прошлого года, когда Боря о своем друге и учителе Серго Орджоникидзе стал говорить в прошедшем времени – «был», «любил», «не признавал», «хотел», «планировал»... Тоне тогда показалось, что он смертельно заболел и вот-вот умрет, она спросила об этом у Бори, тот побледнел, испугался и растерялся, потом засмеялся, хотя видно было, что смеяться совсем не хочется, и делано веселым голосом сказал:

– Да ты что, сестренка! Он здоров и нас с тобой переживет. Только не будем больше об этом, ладно?

А потом, в феврале, выяснилось, что догадка была вполне правильная: Борин нарком умер от паралича сердца. Действительно, значит, болел, и Боря знал, но не сказал? А вечером того же дня, когда уже легла спать, услышала в соседней комнате тихий, шепотом, разговор Бори с мамой и слово «застрелился». Или «застрелили»? Этого уже никак нельзя было понять: зачем застрелился? Почему? Или: кто застрелил? Когда вся страна как один человек строит... Потом Боря рассказывал, что сам видел в Кремле какие-то странные события, а как Орджоникидзе умер – видел трижды. А потом спрашивал у мамы, правда ли за ним утром того дня приезжала машина? Ну конечно, приезжала, и шофер еще был новый, незнакомый. Оставались сплошные непонятности, а спросить было нельзя, ведь разговор-то подслушала...

Ну и любовь эта, как назло, будь она неладна! Надю, Борину жену, тоже как подменили! Вдруг ни с того ни с сего собрала вещи и уехала к родителям, бросила! Тоже в феврале! Ну, не совсем, конечно, бросила, иногда приезжала, даже ночевать пару-тройку раз оставалась, но это разве жизнь? Она видела, как брату не хватает Нади, и ревновала, и жалела его, и хотела, чтобы вернулось все, но и какой-то женской просыпающейся стороной души начинала чувствовать себя единоличной собственницей брата. И все же это чувство было ничто в сравнении с желанием вернуть прежнего Борю и с глубоким, почти трагическим пониманием, что сестра никогда не сможет заменить жену.

А началось все со странной вещицы, которую как-то раз, не то в конце лета еще, не то осенью, принес с работы Борис. Из какой-то своей командировки привез. Войдя в комнату прямо в плаще, так и не сняв его в большой прихожей коммунальной квартиры, он поставил свой кожаный портфель на стол, открыл кодовый замок и достал черную бархатную коробочку размером с папиросную пачку.

– Ну-ка, Надюша, посмотри... примерь...

Тоня, делавшая уроки, услышала в словах брата странную растерянность, как будто не он дарил, а ему дарили, и брат не знал, как поступить, принять ли. Она видела, как Надя растерянно взяла в руки коробочку, открыла ее... На белом атласе лежало удивительное украшение: кулон с огромным, в целый пятак, черным камнем в золотой оправе на изящной витой цепочке. Надя ахнула, сраженная красотой подарка, и даже не сразу смогла примерить – пальцы не слушались. Она долго возилась с замочком, наконец получилось, приложила к шее, вновь пытаясь застегнуть, но это было еще труднее, тогда Тоня подошла сзади, чтобы помочь, замочек на мягкой пружинке защелкнулся. Смотреть на эту красоту было просто невозможно – черный камень даже в рассеянном свете абажура переливался и сверкал, как будто из него самого исходил какой-то неземной, лунный свет. Надя, как любая женщина, примеряющая новую вещь, незаметно для самой себя расправила плечи, подняла выше голову и, неся на тонких ключицах цепочку и почти у самой шеи, чуть ниже, кулон, подошла к зеркалу. Она преобразилась: даже домашнее платье вдруг стало королевским, богатые черные волосы, собранные в простой пучок, преобразились в драгоценную прическу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.